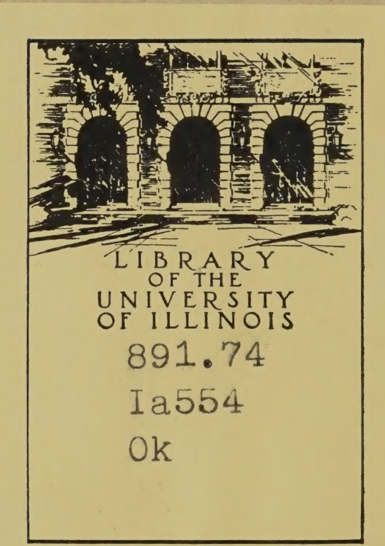
В · ВЕТРОВ

КЕДРОВЫЙ ДУХ

З · И · Ф



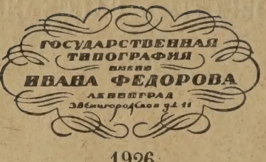


ВЛАДИМИР ВЕТРОВ

КЕДРОВЫЙ ДУХ

ПОВЕСТИ и РАССКАЗЫ

«ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА»
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД



1926

Главлит № 41957. Тираж 4000 экз. Заказ 377.

Ах, как полна нагрубшая грудь, вскармливающая своего сына!..

«Кедровый Дух».

А от деревни одна дорога: колеистая, угробистая, мокрая.

«Лихоманка».



КЕДРОВЫЙ ДУХ

ПОВЕСТЬ

1

Трава там, по болотам — резучка: когда ходишь, не балуйся, не хватайся — живо до кости прохватишь. Резучка — жирная и высокая, а у дерев — корни, заскорузлые и горбатые, как у старого землероба руки, и ветви — веки, седые, замшенные.

А люди — рослые, прямые и крепкие: кедры!..

В мае наехали техники по просушке болот, и по зубам согр [1], по огромным, по пояс, кочкам, сверкая, лязгая и звеня, прыгает стальная мерная тесьма: 10 сажен... еще 10... еще... 50!

— Сто-ой! Забивай пикет и колышек, точку-у!

71 — сочным синим карандашом на затесанном лице Кола. Это от устья речки Тулузы — семь верст, пятьдесят сажен. Бурая с волоконцами, цвета желтой руды кровь выпучивает из пробитой земли, растворяясь в воде, а пикет — березовый, белый, веселый — высматривает из-за вешек вслед другим таким же, уходящим по ярко-зеленому с желтыми крапинами полю в голубое небо. Как оглядывается.

---

[1] Согры — лиственный лес по болотам.

Вперед да вперед разведчики-вешки, с клочьями мха на верхушках для приметы, тянутся по фарватеру болота. Все дальше, все выше, все ближе к разлому: его-то и надо. Оттуда уклон в разные стороны — в речку Черемшанку, в Кочегай, в Баксу.

Болота, болота, болота...

Согры, согры, согры...

Гнуса — видимо-невидимо: паутов черно-желтых, гудящих, с перламутровыми глазами; кишат на холщевых рубахах, на обутках. Это — когда солнце. Наползет туча, посереет окрест, зашелестит поросль, — и с травы хором подымаются комары, плачут да жалят. А насосется крови, тут же — не улетит — валится, что добрый верующий в престольный праздник. Правда ли, что комару за всю жизнь только однажды напиться надо?!.. Побаски — пожалуй.

Едят здо́рово — однако не обидно: уж очень зелена̀-душиста высокая трава, и так-то голубо широкое небо, и мрежит лениво необъятное солнце, виснет над головой.

— Полднить пора уж.

Вот и елань [1] излучивается поближе. Партия изыскателей оставляет тесьму и гониометр [2] с кольями на линии, обозначенной вешками, и вымятой бродними травой; выходит, хлюпая, полднить. Из листьев прошлогодних и высохших и из пня, проеденного

---

[1] Елань — места, лежащие выше уровня болота и потому сухие.

[2] Гониометр — угломерный геодезический (землемерный) инструмент с буссолью, без трубы.

двухвостками и древоточицами, сгнилого, раскладывается курево в защиту от несусветного гнуса. Закидываются на фуражки сетки, которые придают такой таинственный вид рабочим: ровно чародеи какие расхаживают. Убогий «запас» вынимается из мешочков, а то просто из карманов — что там? — пучок лука, ломоть хлеба, щепоть соли в тряпочке от пестряди новых штанов.

Между жевками — как меж кочками вода, теплая и густая — струится разморенная речь...

— Слыхать, опять войнишка началась... А?.. Товарищ Иванов?

Техник Иванов — на спине, с полузакрытыми, в небо, глазами — цедит:

— Да-а... с поляками...

Под плечами и к ягодицам ласково промокает от влажной земли.

— И что им надо, лешакам?

— Что?.. Пес ведь это — на цепи. Натравили французские толстосумы — вот и все...

— Самих, слышь, хранцузинов-то хресьяне ихние не пущають. Сами нейдут и богатеев не пущають... А Расея-то, братцы, — кус!

— Мда-а... Всякому охота укусить помягше-то.

— Не шибко и мягки-то: кабы не просчитаться им.

— Ох, робя. Надысь мне-ка Софроныч встретился и таку загадку загануд. Быдто Англея, грит, Японция, Хранция и Америка — во их сколь! — пушку выдумали, Анатной прозвали. Черезо всю землю палит. А снаряду в ей — тыща пудов. Ох ты, сволочь—

как типнул! — прихлопнул Матюшка паута, послюнил укус и продолжал: — Сговор у их: народ расейский уничтожить и землей завладеть. Ну, грит, как нацелют, ахнут, — так снарядина тучей прет. Упадет — и нет губернии. Была, впример, наша Томская: сколько тыщ населу — мелеён. А тут, одинораз — ямина...

— Дура ты. Я где был — землю произошел. Чемоданы — это двистительно. Кака Ерманска-то была. Этто брехня!

— А кто это у вас, товарищи, Софроныч-то?

— А-э... так это, старик заваляшай—пыль в шары им тут пущаить, — сплюнул фронтовик Семен. — Серось!

— А сам-от трухишь его... Он все знает. От наговора там, от раны-косовицы, от кисты лечит.

— Софроныч? Это, браток, мужик-от — боле трех сажен у землю видит. На воде могет видать.

— Ну так врет ваш Софроныч!

— Вре-от! — криво усмехнулись мужики. — А ты, браток, не очень того... его охаивай. Он тебе живо кисту-то поставит. Он те, язви те...

Согры шепчут осиновыми трепетными листьями и гуторят, легонько так, березовой листвой, а пьяный широтой таежный бродяга-ветер чуть пошевеливает таловыми по болоту кустами, как челками на плешине, и дышит в горящие от укусов и жары лица.

— Не верю я, товарищи, в этих Софронычей: сколько ни видел их, одного такого колдунка побил даже, — до сей поры никакой кисты не имею. Сказки древние это!

— Ну, он, Софроныч-то, боле по-насерку[1] девствует.

— Мда-а. Летось-то: эдак же Васька Хрущ облаял его — ну и пострадал. Во-о, с какой брюквой ходит.

Иванов дубом подымается с земли, выплевывает окурок и делает два шага к болоту. Удавливает ногой ямку — вода заливается; он зачерпывает ее берестом и пьет тяжело и шумно.

Не вода, а настой на травах и букашках.

— Вы вот передайте-ка, ребята, Софронычу вашему: дурак ты мол, старый. Ан-тан-та — это не пушка, а союз государств буржуйских. А кроме того, скажите: если ты, чортов дядя, технику Иванову кисту не поставишь, — он тебе фонарь, мол, на морде поставит. Не смущай сказками народ!

— Ужли не трухишь, Федор Палыч?

— Тьфу ты, чорт. Слушать тошно. Киста — иначе грыжа ведь. И получается от подъема тяжестей, телу слабому непосильных. Вот и все колдовство тут.

Мужики, недоверчиво ухмыляясь, идут за техником на болото. Снова сверкает и лязгает тесьма, и зубасто ляскает топор по кустам, которые застят щель гониометра.

Когда солнце скатывается на запад, партия — усталая, наломанными по кочкам ногами — тянется в деревню Тою. А закат раскрашивает коричневые от загара лица в малиновые и лиловые цвета.

---

[1] По-насерку — осердившись.

Все идут пошатываясь: упоила их четырнадцатичасовая работа, рябое солнышко медовой жарой и гулящий ветерок пенистой брагой расцветающих трав. Комары пискливо и жалостливо липнут и вьются; отсталые пауты гудят, как бородатые мужики на сходке; а подслепый туман встает сзади и тупо зорит вслед...

...Тайга!..

Темная, костоломная, каторжная.

Полная неуемных сил и неповоротливая, тугая на мозги.

Вешечник Михайло, старый, но вникающий, рядом с техником Ивановым идет и боли деревенские-таежные рассказывает. Языком густым и шершавым — как измозоленными руками по шелку водит.

— Кто не бил ее, тайгу-то, прямо в раззяву, на которой голубели глаза ребячьи? Царские стражники — скулы выворачивали, вышибали зубы, секли и вешали.

Была война, была революция. Первая увела, вторая вернула часть мужиков в деревню; думали они зачинать жить, раскумекивали — что и как. Не вышло. Переворотилось на вёшную опять что-то там в городу, и Колчак полосовал — свободу на местах известных выписывал шомполами — в острогах гноил, орал «молчать» и расстреливал целые деревни ошарашенных чалдонов.

Выла тайга и злобилась. До семнадцатого года, ничего бы, сошло, пожалуй — а тут воли понюхали:

— Человек ты, говорят, такой, как и все.

Кому же после сладкого горькое нужно?

Выла тайга и злобу копила, а она в глаза — волчьи уж — вылезала и колола:

— Растерзать!

Бросали избы и хозяйства; в зиму — когда до сорока морозу доходило — теплый насиженный угол бросали и шли голыми руками давить колчаковскую свору и рвать буржуев.

Молили:

— Господи! Вскуе оставил... Ужли не возворотишь большевиков?

Имени их предстояли, как святому Пантелеймону, о скоте и доме...

Спроворили, наконец, Колчака и — первое время, когда после пожарищ партизанских алые банты просто и весело прошли деревню — возликовали: хлынуло жданным, товарищеским.

Вздохнули мужики и принялись налаживать разбитое хозяйство. И тут же жертвовали последним на красную армию, на то, на се... Портки с себя сбрасывали, собирали хлебом и яйцами — кто чем мог. Слали, сдавали — куда, почти что не спрашивали:

Веровали!

Коммуну образовали — ну и помоги себе ждали: усадьбы нарушенные поправлять — топоров, гвоздей; снасть хозяйственную восстановлять — воровины, шпагату, железа; землю обихаживать — плугов, литовок, машин...

— Нет ничего!

— Обутки пообдрипались — ни сапогов, ни котов.

Далеко очень, глушь: семьдесят верст от пристани и путей. Газет даже не слали — не слыхивали. А и слали — так в волости где-то затеривались: до нее тоже тридцать верст.

Ком-ячейка своя была — ну, слабая; четыре человека и с одним только желаньем что-то сделать, а приступить не знали как.

А из города помощи не было: некогда, некогда, некогда!

И — **н е к о г о!**

Там — Чекатиф, Грамчека и просто Чека. Людей на себя не хватало, не то чтобы еще на край света посылать.

— Истинно, край света. До Баксы еще кое-как видать, а там уж — о-хо-хо-о! Одно слово — темь!

Да по чугунке и проводам вот-вот гром орудийный докатывается. Интеллигенция, верно что — пужливая, разбежавшаяся, — во-свояси повсюду возвращалась; да и в деревню не больно охоча, в городе пристраивалась бумагу марать.

Словом, город сам покуда выправлялся и про деревню таежную забыл. А в ней все по-своему шло. Была потуга к искровой правде, выношенная рабским и звериным житьем, — так она туго и слепо шла одна вперед, хватаясь и шаря. Ничего не давал город деревне, а тянул с нее все — все как есть тянул.

— Приедет какой-не-на-будь, поет-поет и чо-не-на-будь да попросит: сена, хлеба, того-сего. А чуть что супротив скажи — чичас:

«А-а, ты — буржуй! К Колчаку хотится!..»

Прогонами, вывозом, сдачей по неделе — тоже маяли. А тебе, обратно — нет ничего. Школа стоит недостроенная, загнивает. Сами бы в момент возвели — клич некому гаркнуть.

— Где они? Мы даем, а они хушь бы чо?

И обида жечь зачала, как жигало:

— В город делегаты ездили на хресьянской съезд. Ласо там наговаривали камунисты-те. И горы сулили... Однако, на конец — шиш словай... Оммануди нас сызнова. Э-эх, простота-темнота.

— А Хряпову, лавошнику, этто на руку, исподтиху уголек-от этот, жгучей, раздуват:

«Вот! Вот! Вот!»

«Они-те — товаришшы: с тебя-то все, а тебе-то кукиш в сухомятку».

По-первоначалу сцеплялись из ячейки с прочими, но без толку. Эти за словом в голбец[1] не спускались — бывалые; а те — настояще не уразумели, хоть нутром — вот как! чуют, а кроме матерных — слов нет высказать!

«Свобода? Кака свобода? На кой хрен? Ты нам лобогрейку предоставь».

«Свобода ветру нужна. А мы — с земли, трудящие».

«Как ты судить могешь, ежли вокруг себя обиходить сметки нету?»

«Ну... Да ты-ы... не больно... чорт толстопузый. Ноне не ваша власъ...»

---

[1] Голбец — подполье в избе.

«Ну, да и не ваша. Однако без портов сидишь. Я-то еще из старого чего смастерю-пожую, а ты уж мизенец-от досасывашь».

Вот ведь какие резоны-то!

А тут весна нагрянула. Распорухались окружные согры, затопило мочежины, и дороги стали. И совсем стихла ячейка: у самих никакого справу нету — голыши; из города и волости — одни бумажки (и то когда-когда!), сам царапайся. Ну и совсем сдали. Редко, если прорвет, а больше смалчивают.

— Вы-то вот приехали — радость у нас большая была. Как же? С 13-го году, перед Ерманской еще сулились высушить болоты-те. Ну, тольки мы рукой махнули уж. А земля-то кака! Перва земля! В тако время — на тебе! — вспомянули. Вот оно: наша-то влась. А чо? Вправду, теперь влась-то большевицка?

— Чудак ты, дядя Михайло. Конечно. Да у меня мандат с собой.

— Мандат-то... Хм! Эко слово... Не при нас писано. — А сам в глаза технику зорко засматривает. — Ты так заверь...

Иванов-техник сначала самоуком, а потом сторожем при училище был, среднюю школу кончил и по землемерству пошел. С русыми волосами, здоровенный; глаза черные, а сам светлый. Видать — правдивый.

— Что заглядываешь? Настоящая, брат, Советская власть. Я хоть беспартийный, а насчет этого одно скажу: настоящая, крепкая, бедняцкая власть. Это уж верно. Ну только трудно ей сейчас приходится: шесть лет без отдыху воевали и все кончили.

— Я тоже так мекаю. Но забывать-то не след. К смуте идет эдак-то.

Тропка, на которую выходит партия, собственно, ведет из деревни Тои в выселок Заболотье: там у чигина[1] она переползает по жердям через Баксу-реку и — по пихтовнику, кедровому лесу и трясинам — уходит к выселку. За поскотиной Тоинской начинается кедровник — густеющие темно-серые стволы с размашистыми сучьями, в курчавых шапках.

Иванов крутыми шагами вразвалку идет впереди, с сумкой и опустив голову, а думы его — упорные и простые:

«Притти домой, переобуться, переодеться, портянки выполоскать от болотной ржавчины. Повечерять — квас с крошеными яйцами и молоко, — а потом пойти посидеть с парнями на бревнах. Ах, да — чорт побери! Муки еще надо на квашню натолочь».

(Мука казенная, из учреждения—затхлая и комьями).

Тут, сзади него, в обгон, слышится топот, и мимо пробегает Семен, молодой парень, ефрейтор с Германской. Хожалый, ширококостный, но с нездорово-серым, прыщавым лицом.

— Ишь! Ефлетур к Варьке побег!

Меж кедровыми стволами навстречу мельтешит белая крапчатая юбка. Семен налетает с намерением задать «щупку», и видно — как это он растопыривает руки: схватить, повалить, помять. Но женщина быстро поворачивается; рука парня, срываясь, скользит вниз

[1] Чигин — полуостров, образуемый излучиной реки.

и прочь, а женская — налитая, полная, с куском холста — мигом опускается и стукает по голове Семена. Тот, запнувшись раз - два, валится с ног:

— О-ох! сте-ерва... трафить-те...

— Ловко! Вот те гирой! Го-го-го!

Женщина тем временем спугнутой перепелкой несется по траве мимо партии, а ребята загораживают ей дорогу, свистят.

— Лови! Держи!

— Санька — язви вас! Не замай... Вот те крест, так смажу по морде-то.

— Да ты чо, язва... мамзель — ли-чо-ли? Поиграть с тобой незля.

— Знам мы ваши-то игры: лапаетесь за все, охальники... С Дунькой своей играй.

Девушка стоит крепкая (теперь видать, что девушка — цвет еще набирает), платок съехал, а коса — что канат просмоленный.

Чалдонка — скуластая слегка, с радостными нежными губами, а за ними целая рота зубов, белых-белых. Она и не серчает; с лукавым любопытством глядит колючими серыми глазами в глаза технику и, заревея, отбивается от парней: непристойно при чужом-то!

Грудь под холщевой рубахой ходуном ходит, а затронутая в ногах трава покачивается, мотает головками.

Смотрит Иванов, улыбается во встревоженное лицо, и оно поражает его чистотою, таежным неведением греха, огненной радостью загара.

— Ты, Варвара, — видать, зря боишься-то. Девка хорошая, плотная, как ржаная кладь: разве сомнешь тебя.

— Небось, сомнут: у них руки-то — что цепы. Не как у тебя, буржуя.

— Но-о! Во она как тебя, Федор Палыч... Ишь ты, змеиный род.

— А я сейчас дам ей вот попробовать своих рук...

Идет к Варваре, руки широкие протягивает, вымазанные в травной зелени, в крови и прилипших крылышках насекомых.

Но тут Семен, оправившийся и горящий отмщением, наконец, облапливает ее сзаду, сочно чмокает в призывные губы. И вскрикивает, схватясь руками между ног, — а девушка уж далеко. С визгом хохочет, а с нею тайга, топырясь мохнатыми ветками, заступая парням дорогу стволами упористыми: «Тпру-у, стой, врешь, след потеряешь!» — хрустом и шорохом беглым надсмехается.

— Ишь, стерва! в како место пинат. Погоди ужо...

— Варвара — девка правильная, — цедит Михайло кряжистый, почесывая пальцем в бороде под губой.— Назрела она, как шишка кедровая, и семениться пора, ну только отскакивают от ее.

А Иванову тепло и весело почему-то в сердце, где стоят серые искровые глаза, матовость щек смугляных и налитые, полные руки...

В вечереющем воздухе синем — черной порхающей мрежью — шопотные речи текут:

...«С самого нового году, только что сдадут холода, — сила, полыхающая полевым паром-туманом, подымается из глубин земли. Незримо расходится-растекается она и наплывает томными валами во все живое: в коренья, в зверье, в людей — во все живое. Волки по-иному воют и визжат, нюхают следы волчиц, скулят и распяливают пасти в неодолимой жажде продолжения рода. Багровые зори сочатся ядными каплями в неутомную кровь людского молодняка. Жадным потоком плещется кровь в тугих мускулах, жжет кожу и кости крепкие ломит».

...«Милая, где ты?»

«Тут вот жду... каждую ночь»...

2

В углу водяном присела деревня Тоя: в устье реки Тои.

До Петрова дня настоящей работы в деревне нет. Пахота? — здесь мало пашут; из-за гнуса пашут в ночевую и ранним утром. Растет только рожь, а из яровых — овес. Главное занятие: скот, зверь, рыба и орехи кедровые. Но нынче и рыбу ловят только для себя на потребу — хоть ее и много. Соли нет. Вниз по Оби ломают соль, а доставки нет — не налажена. В декабре только заняла Советская власть эту землю — не до соли, не до мелочей тут. Сами бы мужики съездили — милиция отбирает: спекуляция, говорит.

Так и живут, пресношки пекут, а соль — какие там пустяки у кого сохранились — пуще глаза

берегут и тратят исподволь. Солдатка Акулька полакомиться вздумала, так техника Круткина Кольку — так себе, сосунка, — за два фунта соли побаловала.

Так-то трудно соль доставать. А привычка! Калмычье вон безо всякого — прямо пресное жрут...

И работы до Петрова настоящей в деревне нет...

Некоторые долбят корье для дубления кож: такое корыто и немудрая машина долбления (журавлик — а под ним вырубленное корытце — нет ни одной металлической части) торчат чуть что не у каждого двора.

На ветру, на солнце вялится медвежатина; это с того медведя, который чуть не задавил дядю Марковея: рогатина, видишь, со-скользом пришлась, а бурый тут и насел. Марковей ревет, и медведь ревет — рвет живое мясо. Ладно еще Степан, что с ним был и на кедр сперва со страху залез, одумался и топором зверя зарубил, а то бы задрал леший дядю Марковея. Месяц он провалялся, а теперь сидит на берегу вон, шеей шестидесятилетней, испещренной да жилистой покручивает да невод платает; и молодуха с ним (свадьбу перед Масляной только справляли — крепок старик).

Переметы раскиданы там и сям по заводям и заливам Тои и Баксы, а в них морды расставлены. Недавно одну морду снесло; неделю не знали, где взять, и мальчонка Решетов ногой ущупал случайно, в воде брыкаясь. Стали тащить — тяжелая, рассыпаться начала, а в дырья лини поперли. Тридцать фунтов рыбины вытянули, да, пожалуй, столь же — как не

больше — ушло. Жирные такие, ленивые лини. Одно слово — «лень».

Иные по болотам мох сымают, сушат, на продажу свозят или срубы новые проконопачивают.

Теперь вот, недели две будет, техники вчетвером наехали — по осушке болот, и каждый день человек 12 — 16 поселковых на работах. Кто с лентой [1], кто с рейками.

Бабы же с утра до ночи ковыряются, как курицы, на огородах. Ровняют, садят, — одной воды сколько нужно из Тои перетаскать. А из мужиков — кто дома, снасти хозяйственные заправляют, собирают-гоношат.

Но настоящей работы до Петрова нет. После уж пойдет-повалит страда: покос, сбор орехов, уборка хлебов, сеновоз в город. До нового году, а то и январь прихватывает.

А пока — кони бродят по поскотине, тут в кедровом бору и в колках, коровы и овцы тоже по выгону, — но днем редко: гнус заедает, кормиться не дает. Больше в стайках стоят, поматывают головами, помахивают хвостами и бьют себя копытами по огромному животу. Иногда вдруг — дико храпя и вращая глазами красными — примчится лошадь с травы к воротам — нажарили, значит.

Над городом сейчас где-нибудь серыми космами волочатся облака мутной пыли. Над городом ревут гудки, хватают за сердце рабочие жгучие речи, вопят яростно — крашеные плакаты: «Что ты сделал для

---

[1] Лента — та же тесьма.

революции, гражданин?» Город — как муравейник. В нем — бьется неистовый пульс Рабочей Революции; в нем — спешка, и не достает времени, людей и хлеба. Для стройки новой жизни, для тыла и фронтов — голода, разрухи, тифа, войны.

— Товарищи крестьяне! Помогите рабочему в борьбе за светлое будущее человечества...

А здесь — в дрожаще-чистом, голубом — жужжат целые тучи паутов и комаров. Немного позже народятся стрóки, слепни и песьи мухи, а еще позже — мошкара, от которой и сетка не спасает. Неприметными глазу сверлами разъедает она кожу, и прикидывается опухоль.

Так вот живут тут.

По праздникам, по утрам тише еще, чем в будни. Только к полудню начинают вылазить люди из разных холодняков, темных горниц и из голбцов — всклоченные, жаркие, потные. Спросонок долго скребут затылок заскорузлой пятерней и чешут о притолоку или городьбу спину, щурясь на солнце. А потом плетутся на полянку под три хиреющих кедра.

Тут и напротив через дорогу, где лежат брёвна, у школы — клуб. Тут все вопросы разбираются, и решаются всякие дела...

И как это тебя угораздило, Филька: та-аких кóнев стравить?

Филька малорослый мужичонка, с реденькой бородкой и наболевшей мукой в слезящих трахомных глазах — притискивает оба кулака к хрипливой груди и кряхтит, как зубами скричагает.

— Да-ить чо ты сделаешь? Рок на мою жись, проклятый!

Упавшей, подгнилой березой третеводни задавило у него две лошади в плугу.

— Рок тебе. Садовая голова! Сколь годов пласташь ты это поле — ужли не видал, не дотяпал?

— О-ох! — вздыхает Филька, тряся кудлатой головой. На щеке до уха подсохшая царапина и черный сгусток у брови. — Э-эх!

— Тебе бы загодя подпилить — одна польза была бы: дров до двух сажен выгнал бы. Ы-ых вы, хозява!

— По одпили-ить! — передразнивает Филька. — Сам с усам — тоже не пальцем деланы. Чужу-то беду руками разведу. И што вы, братцы мои. Иду этто я, на плуг-от налегаю... а она — хряс-сь! Еле сам ускочил, а ко̀ней враз завалило: тольки что дрыгнули раз ай два. И самого-то вицей садануло!

— Эх, ты... тюря. Голову бы те отпилить — покрайности животны-те живы были бы.

— Все равно теперь, старики, пропадать мне. Куды я с одной кобылой, да еще жеребой.

— Да уж нонеча не укупишь ко̀нев-то!

— Ку-уды-те! Двадцать, двадцать пять пудов ржи просють за одер. А пуды-то нонеча...

— Ноне не пуды, друг, а хвунты. Хлеб-от весь выкачали в момент. Разверстка именуется.

— Прошлый раз очередь я отводил: военкома елгайского возил. Дык в волосте́ мне отрезали: тридцать хвунтов, грит, на́-душу!

— Тридцать?!

— Тридцать. А мне-ка чо этот хвунт-от их на день! На экой пайке посидишь — и с бабой спать прекратишь!

— Не до баб тут. Не до жиру — быть бы живу!

В густой пластовый разговор, как под лемех корень ядреный, вплетается высокий молодой мужик. Партийный.

— То и есь, што не до баб. Сколь размотали за импepистическу войну-то? Все с мужика тянули. А Колчак-от сколь позабрал, пораскидал, попережег, па-адлюга? А теперь Совецка влась повинна. Знамо — вам не по-нутру. Потому она всех ровнят. Чижало ей — а она ровнят.

— Кого она ровнят-то? Чо ты — от мамки токо што отвалился, лешман. Ро-овнят! Тебя да меня — деревню. А город-от, брат, живе-от! Камисары-те почище урядников орудуют.

— Ну уж это неправда, — входит и техник Иванов. — Вам хоть по фунту в день, а в городе и того нет: 25 фунтов самый большой паек, ответственный. А больше по 10 получают. У меня знакомый — заведывающий отделом народного образования — старый коммунист, на всю губернию человек, — а дома форменный голод.

— Ой, чо-то; сла̀дка—складка, да жись—горька,— ввернул мужик, гладкий, с быстрыми светлыми глазами. До трех-четырех работников раньше держал — Егор Рублев.

— А вот — верно. Да вы вот нас за начальство почитаете. А ну-ка, какая у нас мука-то? Задохнулась,

говоришь. Порченая. Сам же приценялся к ней: продай, говорит Федор Палыч, на мешанину скоту. А?

— Чо ты сказывашь нам, Федор Палыч. Кабы сами не спытали? Приедет милицеришка поганый, ничто ведь — тьфу! А ты ему ковригу накроши: сам-от на хвунту, а ему — ковригу, вишь. Да мясца, да самосядочки. Так — не так, говорит, — живо в буржуя оборотню.

— Начальник милиции ко мне заезжал в осет, — поддержал Рублева лавочник Хряпов. — В обед в окурат. Ну, я ему отвалил, конешно: садись, говорю, господин-товарищ, с нами полдничать. Однако, говорю, как на меня самого фунт, — то хлеба, грю, взять негде. Не обессудьте уж, милай... Без хлебца. Ха-ха-ха-ха!

— Го-го-го! — повеселели мужики.

— Дык што ты! Позеленел аж весь! Грозится теперича: я, грит, у тебя ишо пошарю в голбце-то Романовски, грит, у тя там припрятаны, злое семя.

— Ну это же отдельные случаи, — вставил Иванов. — Мы ведь должны понимать, что пока еще все налаживается. Советская власть тут не при чем.

— Да она — кабы Совецка-то. А то камунисты правят! И хто это таки — камунисты?

— Неужели до сих пор еще не разобрались? Да вот вам товарищ Василий скажет, поди. Он в ячейке состоит — должен знать.

— А хто ему поверит-та? Он в своем антересе. Вопче в ячейке у нас одна голытьба да сволота: безлошадны. Один дурак Петрунин в камуну-то эту влез

из домовитых. Вот и едут покуль на ем, — заявил опять Хряпов. — Знам мы их.

— А ты не забегал? — взъярился партийный Василий. — Да тебя, кровососа, мы и не припустим.

— Да нихто и не подет к вам, жиганáм.

— Ну а сами-то вы почто не вступаете? — спросил Иванов прочих мужиков.

— Ну нет, брат. Мы за большевиков. А камунисты нам ни к чему. За большевиков мы и муки принимали, и супротив Толчака стражались, с кольями шли. Хто у нас тут не порот-то? А сколь в борах позакопано? А в острогах посгноено?.. И-и-и! Все за большевиков.

— Да ведь большевики — это и есть коммунисты.

Но мужики только в бороды ухмыльнулись, погладили их: не обманешь-де:

— Мы за большевиков-то, браток, всей деревней семь месяцев бегали по тайге. Ужли не разбирам?!

— Чо тут!

— Мы ту партею досконально знам. А эта — друга!

Так и не убедил их Иванов.

— Ты, — говорят, — пожалуй, и сам-от не камунист ли?

Вчера всей деревней ходили поскотину поправлять: кой-где нарушена была. Жерди новые вырубали, кустами и вицами переплетали.

И техник Иванов не ходил на болота — дома остался: инструменты выверять, а прочие техники план наносили. Вокруг Иванова ребятишки сгруди-

лись, а он в трубу на рейку пеструю посматривает да винтики подвертывает. Мимо ведрами гремя, Варя Королева ходит, огород поливает и девичьи песни распевает красногрудой малиновкой.

Ребятишки дивятся:

— Дядинька, а дядинька, ужли ты столь далеко видишь цифри-те?

— А как же. Стекло в трубе увеличивает и приближает.

— Дядинька, а мне можно поглядеть?

— Валяй. Да один-то глаз прищурь.

Мальчонка закрыл веком глаз и пальцем, как камнем придавил.

— Ох, как близки... Ох, язви-те. Ну вот пальцем дотронуть! — протягивает он ручонку вперед.

— Петька, постой — я...

— Ух! Красны, черны метки... Ох, леший.

— Серя, и мне хоцца,—тянется девчонка Аксютка.

— Куды те? Чо ты понимаешь?

А Варя опять с ведрами мимо идет: юбка высоко подоткнута, босая, и белые круглые икры чуть подрагивают.

Косится на инструмент.

— Может, ты, Варя, хочешь взглянуть? — обращается техник к девушке. «Чем бы ее задержать, ближе побыть и слова ее — молодостью и здоровьем обволокнутые — послушать. Слова — как медовые пряники, вяземские».

Та ведра на-земь поставила и коромысло возле уронила.

— Ай и в сам-деле позволь поглядеть, Федор Палыч.

Нагнулась и немного погодя:

— Ничо я не разберу чего-то.

— Да ты оба глаза таращишь. Стой-ка, я один тебе закрою.

Встал слева, одну руку положил на ее плечо (как обнял), а другую — левую — приложил к глазу. Потом чуть выдвинул окуляр — переднее стекло: хорошее у ней, поди, зренье-то.

— Ну, что? Видишь что-нибудь?

Сам нагибается к ее голове и голос зачем-то понижает. От волос ее аромат, теплый и расслабляющий, бьет ему в ноздри, и оба молодые тела в мгновенном касании бурливо радуются и замирают.

— Не-ет... Ааа! вон... Глико—близко как! И ярко— лучше, чем так...

Дыханья их уже смешиваются, и лицо Вари начинает пылать.

— Ну, а еще что видно?

— А вон кедровина... чуть едак поводит иглами... И тонюсенькие нитки там вперекрест...

Потом она тихонько поднимает голову и, уже захваченная темным прибоем крови и сладким томлением, берется за коромысло и мельком из-под него вскидывает влажные глаза на Иванова, а тот неверными руками к чему-то ослабляет винты штатива [1].

— А с чо это, Федор Палыч, кедровину кверху ногами видать?

---

[1] Штатив — тренога инструмента.

— В трубе отраженья от нее перекрещиваются. С корня то сюда падает, а с ветвей сюда; и ломаются на стекле-то. Первое — вверх идет, а второе — вниз.— Дрогнувшим голосом тихо отвечает он, а в потемневших зрачках прячется просьба:

«Варенька, милая, ну постой, побудь еще маленько!»

Но она уже вздевает ведра и, медленно повернувшись, покачиваясь, уходит, — только у калитки бросая косой осторожный взгляд назад.

А Иванов сызнова инструмент устанавливает: пропала поверка — не те винты крутит он.

3

Буйно цветет тайга под голубыми небесами. Коричнево-серые кедры распластали темно-зеленые лапы, а в них — как в горсти—торчат мягкие желтоватые свечечки. Лиственница пушистая и нежная тихонько-молодо тулится за другие дерева, но парная нежность ее звездистых побегов, кажется, липнет к губам.

В свеже-зеленых болтливых сограх, смешливых и ветреных, как в ушах молодух, болтаются праздничные хризолитовые сережки, а боярка кудрявится, что невеста, засыпанная белыми цветами. Веселый и деловой сок бьет от корней к верхушкам.

Не ведая ни минуты покоя, как шаберка-сплетница [1], шумит-шелестит шелестун-трава, и ехидная осока то-и-дело облизывает резучий язычок.

---

[1] Шаберка — соседка.

А там, по елани, побежал-повысыпал ракитник-золотой дождь, и кровохлебка, как девченка, вытягивая шею, покручивается тепло-бордовыми головками и задевает ладони. Будто девушка-огородница жестковатыми горячими от работы пальцами водит по ней:

Сорока-белобока
На пороге скакала...

Вон по мочежинам, по кочкам болотным, не моргая венчиками глазастыми — вымытые цветы курослепа и красоцвета болотного; курятся тонкие стройные хвощи. Голубенькие цветики-незабудки, как ребята, бегают и резвятся, — у таловых кустов с бело-розовыми бессмертниками.

Отойди — по полянам опять неугасимо пылают страстные огоньки, которые по-другому зовутся еще горицветами: пламенно-пышен их наряд и трезвонно-силен их телесный запах, запах пота. А в густенной тайге медовят разноцветные колокольчики, сизые и желтые борцы, и по рямам [1] таежным кадит светло-сиреневый багульник-болиголов.

Полна тайга и без того запаха, света и шума, мается сожитием плодоносным, ломится мятежным ростом она, — а как прибежит ветер-ветреный — без умолку загуторят лесины курчавые, зарукоплещут еще могутнее травы, и зверино-нежный дух всего этого дикого пиршества облаком заклубится-заволокет, ширится и ломит сердце человека, кружит голову

[1] Рям — таежное болото.

заботную. Жаркая кровь гонит по жилам и стучит в каждой точке тела, как озноб.

Вспенивается, шумотит-шепечет и вспучивает тайга, как медовая на дрожжах брага в корчаге — ароматное, густое, одуряющее питье — и емкими жбанами разносит его земля по пиршественным столам своим...

«Земля моя! Мать и возлюбленная моя до конца моих дней! Корнем цепким и мясистым вновь прирастаю.

Люблю я тебя навеки за широкую грудь с черными сосками, в которых не иссякает кормящая сила»...

Невидный, на солнце скрытый огонек полизывает сырые и отиненные палки вперемежку с сушняком — курится. Над осокой повисла жерлица, а Иванов с удилищем в руках над самым куревом рыбачит тут, у перехода через Баксу. Ворот расстегнут и фуражка сброшена. С чащи волос спущен платок носовой — от комаров и прочего. Солнышко июньское неслыханно-нежно гладит его по щекам и под рубаху забирается.

Не жил еще, можно сказать, Иванов. Политикой не интересовался. Да и не так даже — приглядывался: не все обнимал умом — слушал теперь гудящую Землю. Думал: нечего тут — само собой дойдет. И был похож на коренастый ивняк на островке, вокруг которого мечется вешняк, взбухая и ширясь. Так и Иванов — здоров и крепок, некому и не в чем завидки ему растить.

Неловкий и небольно речистый — успеха у вертлявых городских барышень не имел: стулья корежил, занавески локтями обрывал и на юбки наступал.

Как есть — сын тайги блудящий! Сейчас вот только чует: бродит в нем сила с полыхающими знаменами, и терпкие запахи мутят голову.

«Ах, как полна нагрубшая грудь, вскармливающая своего сына!

Нет, люблю я тебя и тогда, Земля моя, — когда чертополох (если рву его теплые медовые цветы) впивается в мою кожу и до крови царапает ее. А также и тогда я — сын твой, — когда падает неожиданно подточенное столетнее дерево и разможжает мне ногу. (Не подставляй!)

Все благодатно в тебе, мать моя и возлюбленная до конца моих дней!»

Тут у жердин через Баксу уселся рыбачить Иванов. Почему? Кто его знает. Не потому-ли, что Варя Королева — это ему известно — вчера под-вечер ушла к крестному в Заболотье.

А сегодня воскресенье — игры в Тое будут.

В аире-траве полоснулась щука. За кем она? За серебряно-чешуйным чебаком или за розоватой сорошкой?

Клюет...

Тихонько этак дернулся — нырнул поплавок и затих. А вот повело его по воде в сторону.

— Угу! Окунь зацепился.

Тянет Иванов, тяжело гнется черемуховое удилище.

Раз!

Пузырьком всплюнула речная гладь, и затрепыхался в воздухе, шлепнулся о тинистый берег в траву красноперый окунь, зашуршал.

— Ого! Фунта полтора вывесит, пожалуй...

А с того берега, из-за пихтовой стены подходит звенячий девичий голос, и верхушки трав перебрасывают шорох далеких еще шагов:

Вырастала-вырастала
Белоталом у Баксы.
Никому не расплетала
На две косы волосы...

Распалось что-то, застонало в груди у Иванова. Полыхнула огнем кровь, и весело затрещало сердце. Или это курево разгорается, и пламя лижет подсохшую траву?

Наряди меня, родимая, —
Пойду в веселай лес:
Рябинушка молоденькая
Седни заневестилась...

Задорно вперебой закричал через струистую речку

Бор горит, сырой горит, —
Во бру — сосеночка.
Ох! Не сполюбит ли меня
Кака-нибудь девченочка-а...

...понесся крик его на таежных качелях, и сразу смолкло пенье за рекой, за пихтовой стеной. Но зато показалась по тропке на берег и сама Варя. В холщевой кофте и красной с белыми разводами-цветами юбке; коты тяжелые у нее в руках с ромашкой и пуговником-цветком, а ноги босые, и смотрит она к

Иванову. Но тот, как ни в чем не бывало — будто не он — не видит. Сидит, удит.

Раздумчиво остановилась Варя у жердей: не спроста тут техник уселся!

Потом, пробуя за каждым разом, — горбом стоят жерди хлибкие — перешла Баксу.

А итти ей мимо техника — не миновать.

— Здрастуй, Федор Палыч.

— Здраствуй, Варвара Дмитревна. В гости ходила? — смотрит он в нее, как в глубокую воду, сам рта не может закрыть, улыбается. — А я вот рыбу ужу.

— К хресному ходила, — кому-то в лес говорит девушка и вслед затем — быстро минуя рыбака — прыскает. — Удишь-удишь, а ужинать чо будешь!

Но тонкое удилище просовывается по траве меж убегающих ступней. Конец его с громким хрустом ломается. Но и Варя — кренится, пробует удержать равновесие, а тут Иванов подхватывает ее и жарко прижимаясь, силком усаживает рядом...

— Ты мотри! Не на такую напал ведь... — задыхается Варя.

— А что? Мне вот одному скучно удить — ты и посиди рядом...

— Чо мне-ка с тобой сидеть, леший? Пу-усти-и! Ты ведь образованной.

— Это не проказа, поди-ка... Сто-ой! Ишь ты! Ты ведь славная Варенька: пожалей меня... Ну, сама подумай. Сижу я один да рыбу ужу. А мне охота, чать, поглядеть вот в такие ясные глаза и любиться охота. Кровь, как у всех — не рыбья.

— Ох, ты, язва: куды гнешь. Ай-да, пусти... ну, пусти ли-чо-ли, — полусердито-полужалобно просит Варя. — Ты чо думаешь...

И срываясь пальцами, пытается разнять цепкую руку от талии. Выворачивается, как налим, всем телом, и красная с цветами юбка заголяется, обнажая стройное, сильное колено с чуть темной чашечкой. Как тайну!..

Но где же!

— Ты чо же это, язвить-те! — блещет она испуганно серыми глазами, сдвигая жгутовые брови. — Видал, как я в осет Семку-то спровадила?

— Варя... родная. Ей-ей вот, ничего я не думаю... ничего не сделаю тебе. Попросту я... Пела вот ты сейчас про рябину, а сама — ярый черемуховый цвет... белотал медовый. Вишь, ты какая... радостная... так и брызжет от тебя. Жалко тебе — все равно в воздух уходит.

— Ох, ты, леший... ласый какой. Пусти, однако — некогда мне.

— Праздник сегодня — куда спешить.

— С тобой вот сидеть. Ппа-ара — кулик да гагара!

Давясь смехом, вывернулась все-таки она и, тяжело дыша, встала в двух шагах — оправляясь, залитая бурным румянцем. А Иванов откинулся на спину и закрыл глаза от солнца или от чего другого.

Тысячи бы часов лежать так и чуять там за головой вешнее земное счастье!

— Варенька! — с закрытыми глазами медленно, как цветущий куст, начал пригибать он. — Ты только

взгляни вокруг. Как земля разубрана-разукрашена. Небо — голубое, глубокое — опрокинуто. И Бакса течет-журчует по травяному дну — тихая, ласковая... Дышишь, как над брагой стоишь...

Тут он повернулся на живот и глянул на нее снизу вверх, а она лепестки теребила-обрывала, и видно было — по нраву ей стоять так и слушать.

— Давеча, как запела ты, — брага эта запенилась вся, сразу. А вышла к мосткам — в сердце и в голову духом ударила мне.

— Ай, больно ты липуч на речи, леший. Подластиться хошь.

— Ничего я о том не думаю. А вникнуть, так и правда: от тебя радость-то вся, густая... Пожалуй, что и у мостков-то для тебя присел. Ждал: вот, мол, ты обратно в деревню пройдешь...

— Ишь, леший...

— ...посмотреть хоть, пригубить хоть у ковша-то, ты ведь что ковшик золотой. Брага-то кругом, да как ее выпить. Гляжу, а ты несешь ковшик-то...

— Темно и несуразно баешь ты, как спишь... — прошептала вдруг девушка, почему-то оглянувшись.— И ни к чему все это. Ты-то и в сам-деле, может, спроста, а люди-то живо на что свернут. Ну-тя!

Отступив несколько шагов, повернулась и быстро-неровно пошла к деревне.

Вы, березовые дрожки, —
Крашены, окованы.
Пристает ко мне, подружки,
Техник образованна-ай...

насмешливо донеслось до Иванова уже из кедровника. А он лежал и — верно что — ни о чем не думал, чуя только: мерцает темная кровь, и сердце вытягивается в звонкую, тонкую струну за уходящей девушкой.

Целый день он после того из окна видит, как она сидит с пестро-разряженными девками на бревнах против школы. Девки как белки грызут кедровые каленые орехи. Немного поодаль ломятся парни в черных пиджаках, яростно-цветных рубахах и в густо смазанных дегтем сапогах. Болезненный, бледный парень-гармонист беспрерыву оглашает деревню переливчатой таежной частушкой.

Девки отдельно — парни отдельно: согласно этикета. Один Семен его частенько не выдерживает, зубатит с прекрасным полом и балует: скорлупу ореховую за шиворот спустит, платок расписной с головы сорвет и подвяжет старый пень на поляне.

Хохот и гул толкаются по ней. Больше всего льнет Семен к Варваре Королевой: будто невзначай — с намерением — на коленки к ней садится и мгновенно слетает оттуда под общий смех и визг девок.

Самостоятельно держатся от прочих и три новобранца — они «гуляют».

Выходит и Иванов на поляну и подсаживается к гурьбе мужиков, беседующих чинно, степенно и вразумительно.

Одна и та же тягучая, темная, как сусло, тема.

— Оно бы, собственно, ничаво. А мы к тому подписуемся, значит, под Совецкую влась. Крови

сколь за ее пролили. Противу белой банды стражались. Ну, а как теперь — камунисты, — это не для хресьян.

— Верно это ты, Егор Проклыч. Взять хушь бы: опять вот аген наежжал, в Сельсовет наказывал: «Товарищ, грит, председатель. Республика, грит, в разрухе погрязла—помогти надо». А я яму: «Разуметца», говорю. «Горя тольки вот необнаковенный народу были. Обядняли». «Мда-а», гаворит, «это мы смекам. Ну, а промежду прочим, с вас, грит, доводитца — вот эстолько яиц, масла, шерсти». А рази столь есь курей, штоб эстолько выносили?

— А шерсть-то. Сам вот в однех варегах зиму промотался, а им выложи за здорово живешь. А теперь и овца-то не та...

— Чо-о: с ей боле как двух фунтов не сострижешь. А он себе в книжечку смотрит: «Вот», гаврит, «у вас сколько овец, и с кажной овцы, грит, по хвунту». А на кой ее ляд растить-то тады, овцу-то?— ныл председатель Сельсовета, ни рыба, ни мясо — мужик. Выбрали его так, что таскаться никому не охота было, а коммунистов — ни-ни, не проводили.

— А мясо-то: сами хозяева заколоть не смей. Вот они, времена-те.

— Они-тьте сровняют, — запел опять Рублев. — Чисто буот, хушь-де. Город-от всем нашим лакомствуется, а мы, значит, на хвунту. Па-амагчи надо Шалыганы.

— А чо, язви их: не помогали мы, как зашли-те красные. Близ тыщи пудов хлеба собрали, внесли.

— Чо говорить. Ты приедь, расскажи толком. Может, последнюю рубаху сымем... Атто — на. С тебя, грит, стоко-то пудов, а тебе один хвунт. Куды? Зачем? Про што? И не моги! Так глазами и сверлит.

— Нету, гаврит, в вас понятию, — вздохнул недоуменно и Филька. — Пару вот завалило... Как таперича?

— Идееты вы, — не выдержал Василий, давно уж у него губа дрожала. — Брюхами-то отяжелели. Ими и добро-то покрываете. Жисти не жалели, а теперь какой малой доли жаль. Кому? Своему правительству. Тут всем нужно жретвовать, потому сами себя на копытки ставим.

— Знам, милай, знам. Ты нас не учи, а сопли допрежь подотри,—злобно заскрипел Хряпов.—Тебе-то чо жалеть? Окромя как на себе — ни шиша. Кабы владал — не то пел ба.

— Не мене тя роблю. Токо што народ не обдувал. Ничо, мы и про тебя осведомлены: знам, где ты кладь-ту притиснул. Вывезем, друг!

— Во-во: к эттому вы сызмала, мать вашу... Слышьте, чо отваливает? Разбойник!

— Мда-а! Белы грабили и этти... Э-эх, мужик — што куст таловый...

— Ничо-о! Дай срок — подавятся, — протянул Хряпов. — Кровушкой поплатят!

— Дыть доведут. Все, грит, буот у опчесва... опчественное — и хлеб. Ну сколь не сдаем — нет у нас в амбаре опчесвенном ни зернушка. А надысь Петр Михалыч...

— Который этта?

— Павловскай... купил пять пудов у свояка. Дык што думашь — загребли и муку и яво. Он взвыл: «Товаришшы! Как же мне без хлеба теперь и без сресвов?.. — ть у меня семьища!»

— Мда-а... сам-девят.

— То-то и есь. А в волосте — яму: «Пыжжай, грит, в Вороново, там ссыпной пунк — там те и выдадут. А тут неча спискуляцию организовывать. А Вороновска-то пристань—сами сведомы, старики,— 75 верст.

— За пятью-то пудами. Ох-хо-хо! Вези, значит, свой хлеб туды, а потом оттедова получай! При-и-думали!

— Зерно-то вот из-за эттого смешано ноне. А ведь земля-то матушка, не везде одинакое и однако принимает.

— Недолго эдак поцарствуют, — прошипел Хряпов. — Все развалют и народ воздымут. Восет был у меня один верный человек, так сказывал: «Лубков [1], грит, противу их пошел уж и хресьян скликат».

— Спекулянт это был у тебя, Хряпов: знаю я его, — вдруг вмешался Иванов. — Из тюрьмы беглый. А насчет Лубкова — сомнительно: мужик он башковатый и к Советам приверженный. Коммунисты-то хорошее задумали, да глубоко берут — выдюжат ли?..

---

[1] Лубков — известный по Сибири командир партизан при Колчаке, оперировал главным образом в районе Мариинского уезда.

— Нно-о, ты, Федор Палыч, извеснай их защитник, — сверкнул исподлобья на техника Хряпов. — А наше дело чо? Гнут тя — сгибайся, ломают — хрусти, да не мыркай...

— Тты-ы не мырка-ашь!.. — бросил Василий.

...Так все разговоры протекали. Партийные тоинские почти что бессловесны. Когда приезжал кто из города, либо волости, — они еще храбрились и светлели. А то ходили с озиркой и ночь спали с тревогой: как мартовские грачи, загаркивали их противники.

День меркнет. Ближе подсаживается к деревне тайга, глухая и пытливая. Сумеречная тьма полонит сначала речку Тою и надвигается на замшенные, черные с прозеленью избы. Но вверху изжелта светло, и над тайгой повязкой на лбу — малиновая тесьма зари. Оконные стекла коробятся и переливаются жарким блеском.

Пастушата в материнских кацавейках и отцовских шапках выганивают скот на пасьбу. Мычание, блеянье, ржанье и лай карабкаются друг по другу. А у школы пестрит толпа девушек и парней, сцепившись за руки.

Гори-гори ясно,
чтобы не погасло...

«Некрутье» в обнимку бродят вдоль улицы, и итальянка выкрикивает:

Завари-ка, мамка, брагу, —
Сердце рвет кручина-волк.
В Сельсовет пришла гумага:
Д-собирайся, Ваня, в полк...

Мужики расходятся помаленьку ко дворам, и техник Федор Палыч выдвигается из сумерек и тихонько отталкивает парнишку лет двенадцати:

— Дай-ка, я встану, поголю.

В парах смех и перешептывание: Варьке и Семену бежать. Технику и неловко как будто, но тело размяться просит, и весь он, как ястреб нахохлился — наброситься на разлетающиеся жертвы. Тут и другие техники тешатся.

Шурша, как летучие мыши, разбегаются парень и девушка, перед тем поменявшись местами. Что-то крича, бежит Варя, жесткие коты дробью скользят по земле, а техник — и не глядя в сторону Семена (который тут же петушится-отманивает) — преследует девушку. И вот уж он играет с ней, загоняя в кедровник.

Тайга — вечерняя, морщинистая, старая — шаль-туман серую распахивает и укрывает и пришепетывает над ними:

...«Нынче — как и летось по весне, как и десять, сто лет назад — горницы мои я зорями и потоками вешними вымыла, багульником и травой богородской выдушила и мягкие подстилки исподтишка выткала. Много гостей я жду пиры-свадьбы пировать... Что же вы, гости мои, не шибко веселитесь, не сладко радуетесь?..»

Ежится сердце у Вари: хорошо отчего-то и жутко. Дятлом сердце в груди стучит — одна она. Кто-никто, а Семен — все свой деревенский, отстал уж, этот городской настигает.

А тайга вечерняя шепотит-хворостит:

...«Что же вы, гости мои, плохо подчуетесь? Всего я для вас припасла-призаготовила: наморила я, ребятушки, ржаного солоду красного; хмелю по чигинам-берегам вырастила-высушила; меду дуплового-пахучего соты-пласты вынула... Пейте же брагу мою, пенистую-душистую... Сотни, тысячи лет было так — помню ли я, древняя, — сколько лет было так»...

Опаляя, дышит таежная смуть в лицо и ловится за руки и ноги цепко. Мимо бегом сорвала Варя вицу. Запыхалась — остановилась, обернулась круто, взмахнула — ударила свежими прутьями и листвой голельщика по лицу: тут как тут он. С налету охватил, навалился на нее, и упали на земь оба. Руки рознял, которыми закрывалась; как ни отворачивала, ни мотала головой — втиснул в ее свои раскаленные губы. Словно шоршень — в венчик борца.

Гулко отдалось у ней во всем теле, будто что-то надрубило. А он — пьет и пьет без-отрыву и силу последнюю отымает и стыд. И кажется ей: как мак она трепещет, покачивается под полуденным ветром и растворяется в сладкий мед.

Руки высвободила и наложила на покорные глаза:

— Пусти меня... Федя... Увидят ведь... Семен увидит...

Одумался Иванов. Поднялся и ее поднял тоже на руках. Тихо-тихонько, жалея, спросил; нагнулся как вечер в пруд:

— Варенька! Нечаянная радость моя... Обидел я тебя? Скажи чем?

Молчит.

Опустил, поставил ее бережно.

— Обидел... Так — вот я, открыт перед тобой. Ударь, хоть убей — как за ласку, за дар — удар твой приму.

Молча оправила платье, платок на лоб сдвинула. И глянула ему прямо в глаза осторожненько так, испытывая. Прямо в черные, отуманенные нежностью, неизвестной ей, глаза, в которых зрачки — светляками в оночелой траве.

— Ну, тебя, леший... еще отвечать за тебя будешь. А то тронь — так облапишь опять как жену медведь. И то измял всю.

Ласково толкнула в грудь и отпрянула. Засмеялась — рассыпалась по кедрам, как бурундуки[1] запрыгали. Но Иванов нагнал ее снова и, обмягший весь к ней, поймал за левую руку и пошел рядом — как полагается в горелках.

А земля вздыхала и обволакивала их влажными испарениями, скользким шелестом росной травы и легким, пугливым хрустом палых игл и шишек.

...«Лето минет, — сверну я скатерти-самобранки и пуховики свои вытрясу. На промыслы уйду, в города перекинусь, а то в скиты — разбои замаливать. А по-за-зимой снова раскину — да только другим уж: ничего назад не ворочается... А ноги на то и выросли, чтобы счастье на земле искать; а руки даны подымать его; а губы — милого целовать. На что бы

[1] Бурундук — зверек из породы белок.



иначе эти — алые, как зори и нежные как свет заревый — губы. И они не вечны, ведь»...

— Семка-то, должно, совсем на побег, — протянула девушка, чтобы что-нибудь сказать.

...«Нету радости без горя и счастья без борьбы. И всегда кто-нибудь поперек стоит. Испокон за всякую долю бьются люди, внуки мои, и круче всех гуляет облитый чужой кровью»...

— Пристает он к тебе, Варенька? Скажи только — я его отважу, — озлобился внезапно и стиснул ее руку Иванов.

— Гли-ко, заступник какой выискался! Мотри, как бы тебе парни бока не намяли за свою девку.

— Ну, это, пожалуй, сорвется, — усмехнулся Иванов, в надежде на узловатую силу свою.

А потом вновь проникла к его сердцу змея, и пригнулся он к глазам Вари:

— Лаком он до тебя, Семен-то... Уж не любишься ли ты с ним?

— Столь же лаком, как и ты, — вдруг рассердилесь Варя. — И ни с кем не люблюсь я...

И, выдернув руку, пошла вперед.

— Штой-то вы там? Венчались ли-чо-ли? — встретили их играющие и засмеялись.

— Ой, загнал, подруженьки! Измаял, леший, язви его! Чуть что не до поскотины гнал.

Семен проходя намеренно крепко задел техника плечом, а тот подозрительно и недобро проследил ему.

— Не гнал он ее, а в кустах мял, — выязвил Семен в сторону.

— Одни у те пакости на уме, Семка, — вспыхнула Варя. — Льнешь ты ко мне всю весну, как муха к меду пристаешь. А страм я от тея только терплю. Охальник ты! И не указ мне.

— Ишь ты — фря-недотрога!

— Чо же не становитесь-то?

— Ну ее. Устала я. Маня, пойдем домой, — окликнула Варя подружку.

— Чо ей бегать-то больше, — ревниво, с натяжным смехом процедил Семен. — Достукалась: с царевичем-то не охота разлучаться. Рада кобыла овсу — на што ей трава в лесу.

— Ох, и ботало же ты коровье, Семка. И стыда у тебя на мизенец нет, — кинула ему девушка, уходя с поляны.

— А ты думаешь, с техником-то ширамуры завела, дык и в павы попала... Ты это брось, голуба, брось, — угрожающе тянул он ей вслед. — Мы и технику-то твоему ребра посчитаем.

— Что-то ты, дружок, больно крылья распускать начинаешь да клокотать, как индюк, — скривился в усмешку Иванов. — Ты бы, знаешь, скорей попробовал.

— Ниччо... попробуем... дай срок.

Иванов хотел что-то в ответ подбросить, но промолчал, а свернув цигарку, отчетливо плюнул в сторону и запалил крицалом [1] огонь.

---

[1] Крицало — кусок стали: ударяя в кремень, высекает искру, зажигающую трут.

На работы с партией с той поры перестал ходить Семен и все задирал Иванова на свары.

4

Утром партия техника Иванова ушла на болота— еще туманы белые курились в выси.

Кончала она сегодня по этой линии разбивку, и последний пикет № 115 + 30 был забит в самую речку Черемшанку в болотном устье как раз против полудня. На берегу тут и Королева сторожка: полднить партия вышла к ней.

Король с семьей, оказывается, был на поле и вокурат только что отполдничал и соловка в телегу впрягал.

— Здравствуйте-ка! И мы вам на помочь.

— Милости просим, Федор Палыч, — возвратил Король. Мужик росту невысокого, с широкой улыбкой и спокойными движениями — тихий и углубленный, по фамилии — Плотников, по прозвищу — Король. Фамилию то его, однако, в Сельсовете разве знали.

А Варвара, осветленная, только головой мотнула и прошептала:

— Здрастуйте, Федор Палыч!

— Косите, что ли? — спросил Иванов, вешая сумку с абрисами [1] на костыль в простенке и садясь на корявый сутунок [2] у сторожки. — Рано что-то: до Петрова дня неделя не дошла еще.

---

[1] Абрис — черновой набросок плана местности с натуры.

[2] Сутунок — короткое толстое бревно.

— Дыть надыть. Разряшенье специально в поселке брал. Вышло сено — бяда. И то уж я впоследях у дороги займовался.

— Ну, как травка? Радует?

— Трава — у-ух! Один пырей кошу — в пояс. Литовок вот нет. У меня допрежь какой запас был, а теперь поизносились: трава да время пообкусали. Ни-за-што все-те луга не выкосить. Да и работники-то у меня — сам знаш: девка да мальчонка. Баба с домом да огородом покедова — некода.

— Хочешь меня нанять?

— Ай-да! Чо? Ты сколь получашь — фунт? Ну я тебе два положу и харчи.

— А не дешево! Чать по пуду кладут за косьбу-то. Австрийцы и те по двадцать получают.

— Дак ты, поди — несвычен. Литовки ломать буошь. Хе-хе-хе! — легонько пошучивал Король.

— Кашивал я раньше, Митрий Лукьяныч! Раньше, в мальчишках. Но теперь, пожалуй, мне и против Варвары не выстоять: силы-то уйма — выносливости не хватит.

— Да уж у меня Варя за парня сходит. Правит! Митька чо? Несмыслен и жидок ишо. Велико ли дело, десять годов... А ты чо — владенья мои мерять хошь?

— Вышли вот в конец линии, в речку уперлись. Теперь уж до завтра. Нивелировать с последнего пикета буду.

— Домой, значит, сейчас. Ай-да — подвезу. Мне кой-каки дела справить в деревне. Аген, сказывают, должон седни примчать из Елгая. Проезжий в Павлов-

ское сказывал: «У нас, гаврит, разверстыват и на вашу целит. Ай-да!»

— Спасибо! Пажалуй что! На ночь едешь?

— Да уж не ране, как завтра к утру. А то и пожже.

Сели. Поехали.

— Прощай, Варя!

За версту уж вспомнил Иванов, что оставил сумку на костыле у сторожки. Тьфу! Хотел было сказать Королю, но прикусил язык:

«Вот хорошо-то! Вечером нарочно верхом съезжу!»

Багровым нарывом пухла любовь в его сердце, и рад он был каждому случаю повидать Варю.

Только перед поскотиной деревенской сказал отцу-Королю про сумку.

— Эка ты. И Варька не приметила. Как же теперь?

— А-а... Отдохну и сгоняю вершнем, — особенно равнодушно говорил техник. — Далеко ли тут? верст восемь прямиком-то, не по болотам.

— Возле того.

...«И пешком бы сбегал», — мысленно добавил Иванов.

Забытую сумку Варя увидела взадолге, когда к чугунному рукомойнику подошла. А как увидела — похолодела даже:

— Как же это так?.. Бежать — не догонишь уж. А ему, поди, надо... Ох! И не надо, так вернется...

Ввечеру Иванов обратывал пегого меринка дяди Михайлы — ехать за абрисами, а хозяйка, Прасковья Егоровна, тащила подойник, переходила двор.

— Ты бы повечерял уж сперва, Федор Палыч. Поздно...— тут она вдруг поперхнулась и, забыв закрыть рот, быстренько поставила подойник на-земь, побежала, перевесилась через прясло:

— Глико, Федор Палыч, глико! — зачастила в полголоса, подзывая его рукой-рукой.—Вот смеху-то! И чо страмятца? Хи-хи!—горсточкой придушала она смешок.

— Чего там? — спокойно отозвался Иванов; пристраивал ватную теплушку под себя на лошади.

Телка, гулявшая по двору, тем временем подошла к подойнику, обнюхала и перекинула морду в молоко.

— Д-во-от... по улке... на боку едут. Парой ишо. Ф-ф-ф! — Но тут Прасковья Егоровна испуганно откинулась назад.— Д-они с ружжами! Что этто? Аген, знать-то! Побечь, Михайле сказати... Ах, ты, язва! — увидала она телку.—Приспособилась уж, окаянная — восподи, прости меня грешну. Што и за коровенка за погана растет — то и блудит, то и блудит...

По улице тараторила и скоблила телега: заднее колесо рассыпалось, должно быть, в дороге, и ось чертила землю. На телеге сидело двое в серых пыльных шинелях с винтовками, а рядом шагал человек с пузатым портфелем — смуглый и сухой, как обожженный под дом стояк. Весь в кожаном.

За ними издали перебегали ребятишки, звеня: уж очень смешно, когда на оси едут! Бабы выходили за калитки, роями жужжали, подперев руку рукой, поминутно вытирая в уголках рта.

Двое были милиционеры, третий — агент по разверстке скота.

— Тетушки, где тут у вас председатель?

— А вона-вона... эвона, с палисадником...

— Грезь, мотрите, тутотка, гре-езь!

— Век стоит, век стоит...

— Немудряща изба-то, немудряща, товаришшы...

Кидались все сразу, наперебой с показом угодливым: умягчить «камисара», — может, сбавит на разверстке. О, восподи!..

И опять: сы-сы-сы! По нашински животы, по нашински...

А возчик, сдавши приезжих, отъехал к свояку — попить чайку и пожалобиться:

— В экой жар гоняют, лешачье! чисто забились кони-те с гнуса. Нет, что бы в ночь, по холодку...

На покосе крепкий и клейкий запах — дыханье колосящихся и цветущих трав (пырейный-хлебный, душицы-девичий, нежный, подмаренника — грубоватый, мужской) — клейкий и влажный, касается ласковыми взмывами разгоряченных щек и медленно целует глаза, закрывающиеся в истоме: от тяжелой работы, летнего тепла и отравленного вчерашним тела.

Днем, когда косила Варя, часто застилало глаза. Что это? Падает-ложится скошенным рядом трава, а издали подымается марево, тенью накатывается и вместе со вздохом проникает в грудь, в самую глубь ее, а оттуда разносится струйками, болькими, томительными, и руки немеют.

Ветер ли это тенью теплой, удушливой набегает по земле и захлестывает незримой сетью?

Тихо она остановится и обопрется на литовку.

«Бежать ли? Уехать и мне домой? Тятька осерчает — дело бросила... Митьку послать с сумкой... Мамынька! Рази оставит он!?»

А с ближних согр на ветляные кусты речи бегут:

...«Девонька, девонька! Вырастила-вытянула я тебя до осьмнадцати лет. И в самой поре ты — ладная. Семену — другому ли кому — добро я, бесценное, копила-готовила. Смелому да вольному... Кому посулишься»...

— Ой, и сама я не знаю, ничо не знаю!

Косила я, косила,
Литовочку забросила;
Литовочку под елочку —
Сама пошла к миленочку.

«Тебе, Фединька, ненаглядный, ласковый мой»...

«Кровь ли это стучит эдак или по дороге стукоток копыт? Нет, рано еще — под вечер он, окаянный, приедет».

Горько смеется девушка сама над собой: какой же он окаянный, коли бродни его косой девичьей вытереть, ноги его обнять и целовать готова...

Тяжело ворочается тишина во сне. Захряпает коростель, захрустит падаль-хворост, хай-птица в луга кликнет, — а потом снова все затишеет. Одни кузнецы стрекочут на весь белый свет.

Тяжело вздыхают согры, но они не спят: согры дремлют только на заре. А тут они тихонько перешептываются. Как засыпающие перед сном, который морит их. Тише... тише...

Тяжело ворочается и вздыхает Варвара: душно в сторожке ей — ровно уголья под нарами. Братишка давно уж спит — разметался, журавлями бредит, которые днем курлыкали на болоте. День деньской косьбы только натомил: неугомонно токает молодое тело девичье.

Вот он вдали четкий с цоканьем копыт топот лошади.

Ближе... ближе...

Остановился, спрыгнул человек и что-то коню говорит. Легонько перетаптывается конь. А сердце стучит все громче и громче.

Вот уже у избушки осторожное шарканье, и сил нет — унять бой крови; встать и закрыть — завязать дверь...

Скрипнула дверца, через порог заползает шорох. Страшно! А тень над ней заслоняет остатний свет сумеречного неба.

Знает она кто это, и нету силы велеть уйти. Тайга, кажись, вся кинулась сюда! Гордые кедры клонятся ей в ноги. Серебряный белотал свежею листвою трогает дрожащие ступни. Колючие мурашки бегут по телу от ног и добежав срываются с губ пересохшим, умоляющим шопотом.

— Чо ты делаешь-то?.. Митьку ведь разбудишь...

А он обнимает и молча растапливает последний девичий стыд. Не говорит будто, а она слышит.

— Варюша, напой ты меня...

— Там вода-то... в ведре...

Стонет она протяжно.

— О-ох... уйди ты... пожалуста... ради Христа. Выйду... ну — выйду я к тебе...

Тихонько дверь закрыла и встала с трепещущими, как осиновые листья, бескровными губами — у порога, у притолоки. В на плечи кинутом овчинном полушубке, в одной исподней рубахе и юбке.

— Ну — чо... те надо?.. Гумаги-те...

Но он берет в могучие — рвет их теперь сила — руки. Словно струи речные — водоросль, обвивает всю ее. Испивает сопротивление ее до дна.

Побледнела она, как месяц в небе, и в глазах — полузакрытых, приманных — боязнь чуть теплится, а любовь горьмя-горит.

И что говорить!

Поможет?

Нет!

— Тише, Фединька, желанный мой!..

Бережно, как черемушник, придолил он ее на землю. Сам широкий, могутный мир—за него.

Тайга-сообщница зашумела над их головами, заглушая стук сердец и стон.

Покрывая все—так нужно!

«Кровь ли это стучит? Ах, все равно... Тише, Фединька, заревый мой»...

5

До глубокой ночи сидели ячейковцы у председателя, где остановился агент—Степан Стеннов с милиционерами: отдельной въезжей не было.

Деревенские коммунисты обсказывали городскому:

— Взгляды на нас, якобы на полевых волков. Ничо ишо, можно сказать, от нас такого не видывали, а грозятся. Силы у нас, известно, вовсе слабыи: грамотный—один Василей. Да и—ни тебе газет, ни тебе книжонки какой, завалящей. Кои ровно бы к нам—и те обиждаютца: чо, дескать, толков-то—одни разговоры... темныи. А есь, конешно, пользуютца эттим—подзужуют.

— Если по глупости которые—так, а—по злобе, тому что богатей—прямо сказывайте: живо им можно хвост подвязать.

— Есь и такие крендели,—косясь на председателя, говорил Василий.—За скотину-то вот здорово осердятца...

— Все равно—иначе нельзя обойтись Революции. Никак! А тяжело, так в городе-то рабочим еще тяжельше...

Тяжело!

Много товарищ Степан пережил-перебродил на своем веку. Токарь по специальности из выученников, добровольцем три года болтался на германском фронте: раз ранен был и раз контужен. Там он впитал и услыхал впервые в 17-м году про большевистскую веру, всем сердцем отдался ей. В битвах против сибирских белогвардейцев еще несколько ран получил и непогодь всегда заранее узнавал теперь—ныли сизые швы на теле.

После того, как спаянная товарищеской дисциплиной, красная армия рассеяла сибирскую беломуть,—

он, только что вставший от сыпняка, поступил в Томский Губпродком агентом.

Как для отдыха!

Однако в тысячу раз было лучше на фронте быть, плечо в плечо с такими же и лицом к лицу с хитрым и жестоким врагом: крыть его частым ружейным огнем и пулеметным заплевывать, а потом гнать шкурников десятки верст без отдыха.

Легче было!

Чем теперь вот, чуть не одному, въезжать в тихие, по виду добродушные поселки и случайно ловить недоверчивые, угрюмые взгляды и самому видеть тупое и страшное лицо тайги за дикой и осторожной неуклюжестью зверя. Выкормила их глухонемая могучая земля, непоколебимая тьма их растила. И вековая замшенная жизнь—где каждому зверю было свое место и доля, и каждому зерну нужны были лета и годы, чтобы стать широковейным кедром—жизнь эта насыщала их бессмысленным упорством против перемен.

За внешней покорностью стояли ничем не колебимый противодух и звериная хитрость, следящая за каждым движением и считающая каждую ошибку апостолов новой веры.

Поэтому Степан Стеннов—весь захваченный пламенем Рабочей Революции, сгоравший как бересто в ее костре,—не мог понять движения мутных и глубоких и холодных вод таежной деревни, заботливо и слепо вылизывающих каждую пядь земли. Воды—глубокие и холодные, напояющие и поймы, и солонцы.

Мучился и гневался Степан Стеннов. Ему новая жизнь горела ярким светочем, а тут клали свои головы за пустяк, за неправильно захваченный кедр во время сборки орехов, и жалели ломоть хлеба для людей, клавших голову за их долю.

Будоражило это и хватало болью Степана, и он уже начинал терять всякую меру.

Ехал как-то он от одного поселка к другому и встретил мужика. Мужик обыкновенный, приземистый—и встреча дело тоже самое обыкновенное. И то, что мужик поклонился ему—тоже полагается тут при встрече.

Но у Степана внутри без остатка всколыхнулось. В глаза сроду не видал мужика этого и он его; а видит вот—фуражка со знаком-звездой—и шапку сорвал, и шею вытянул-согнул, и что-то прожевал...

«Кому кровь свою он по капле расходует? У-у, раб проклятый!»

И не только не поклонился ответно, но даже привстал и плюнул вслед мужику запыленному и дико закричал, потрясая кулаком:

— У, падаль! Я тебе покланяюсь вдругорядь.

У мужика глаза даже выкатились от испуга и изумления.

— Господи Иисусе! Ноне и поклоном не угодишь?! Вот жись!

И, втянув голову, поплелся разбитой походкой дальше. Степану и стыдно стало за выкрик.

Невиданную тяжесть носит в себе Степан, как каждый, который не сумеет подойти к людям, и те от него сторонятся. Работать-то надо с ними!

А тут еще этот глупый случай с колесом: въехал этак смешно и неловко перед народом. И совсем озлился, потемнел весь Стеннов на хитрую жизнь.

Председатель Сельсовета живо смекнул, чем, так сказать, начальство успокоить. Как ушли тоинские, и агент заходил угрюмо по горнице,—предложил сбегать за самосядкой:

— Никако дело без того начинать незля.

— Что-о?—зло уставился на него Стеннов.

— Да я ничо, собственно, товарищ,—укрываясь за простоватость и угодливость, заерзал председатель.— Вижу вот, скушно вам, значит, тошно. С нашим братом тоже возитца-то!.. Ну и... ваши-те ребята вон, глонули малость с устатку—спят за мое почтение...

Стеннов отвернулся. Постучал пальцами по столику. Потом упавшим голосом:

— А ну... давай...

Председатель ушел. В первом месте ему отказали:

— Вся вышла. Вокурат и баба-то за Баксой,— сидит.

Довелось к Рублеву.

— Да чо этто ты збеленился в эко время? Аль эттому?

— Конешно. Давай, грит—откуды хошь. Токо— молчок, грит: фактичетски нам—ни-ни!

— Эшь, сволота! Нас дык жгут... А я што? гуляю—дык на свое. Во всяком разе—мой хлеб-от.

— Вызволь, давай, Егор Проклыч...

...За первой бутылкой другая. Потом корчага целая, милиционеров подняли помогать. Тут и Акулька

со своими прелестями—до третьих петухов песни и гомон был в избе у председателя, в горнице. Что там было—не все известно, но только даже Акулька вскрикивала и стонала пьяно.

— Чо буошь делать? Акулька—на што уж, чем работит—и то не вытерпливат—ворочались шабры.

По утру же, солнце высоко стало—председатель опухший и оморщившийся обегал поселок, собрал мужиков в школьный сруб и побежал агенту докладывать: готовы, мол—ждут.

Шумно-матерно галдят поселковые и о фортелях агента ночных рассказывают, мотают сокрушенно головами.

Вот и он.

Ш-ш-ш!

Стихло все—мертво.

Не глядя ни на кого, прошел он к столу в глубине. С припухлой, блеклой кожей и мрачным взглядом. Мутно ему и совестно настороженных мужиков—и оттого еще больше он ожесточается.

Сбоку болтается наган-револьвер, а сзади протискиваются оба милиционера, тоже опитых. Расступаясь молча, сдвигаются за ними мужики, как в мокрой колее за колесом сливается вода.

— Так што, товаришшы, почтенное собрание,—замотался председатель у стола.—Человек из городу приехамши, агент. Насчет скота. Сам он все по порядку доложит.

— Товарищи и друзья,—хрипло заговорил Стенనов. Хрипло,—но справился с горлом и неподвижным

чугунным взглядом уперся в Фильку, а тот заелозил и заморгал.—Республика Советов в очень тяжелом положении. Самим вам, разумеется, известно—наследство царизма досталось нам: война и разруха во всех областях. А от неистовой колчаковщины еще хуже стало. Поэтому Советская власть в незнаемо тяжелом положении. И еще тяжелей ей от войны, которую нам навязала Антанта, с поляками...—Остановился Стеннов, мутит его похмелье, и каждая мысль шумит-задевает в мозгах, как шуга осенняя в берегах рек, тупой болью. Перегаром несет на ближних.— Все мы должны, рабочие и крестьяне, итти на поддержку нашей власти. Потому — это наша власть. Исконная—от нас завязалась... Республике теперь нужна конница—лошади, стало быть. Мясо ей нужно для армии. Стало—надо каждому понять. Новый хомут на нас буржуазия одеть хотит. И все силы мы должны употребить—власть свою и себя защитить...

— Себя-а... — насмешливо и зло досыпалось из задних рядов, когда передохнул Стеннов. И еще глуше—отвернувшееся, из-за спин:

— Баил бы уж: меня-а...

Один из милиционеров привстал и, опираясь на винтовку, стал высматривать, кто это? А Стеннов, сдвинув брови, мрачно помолчал и отвердев продолжал уже жестоко, как гайку зажимал каждое слово:

— На вас, друзья, приходится 60 лошадей, 40 коров и 30 овец. На вашу Тою. Так что раскладывайте. С кулака, с мироеда, конешно, поболе: все равно не его трудами нажито, а кровью бедняков. У кого

помене—с того помене и взять. На голытьбу безлошадную совсем нечего накладывать. Прошу приступить.

Он сел на чурбак у стола, а председатель—белобрысый, недалекий и опасливый—встал, заметался:

— Ну, так как же старики, почтенное собранье?

А по собранью гул пошел. Кряхтят мужики, скребут затылки—в спинах даже дрожит. И с ними тайга кряхтит—старая, кондовая, замшенная.

— Кормильцев-поильцев сдавать, значит?

— С голодухи помирать?

— Решить хотите люд честной?

— Режьте луччи так!..

... «Так лучше режьте уж!»—доносится обратно из гущи, из леса.

Бабы и ребята малые в проемы сруба влипли, губами шевелят, а тетка Евленья крестится. По щекам, как по тине пересохшей, слезы текут.

— Налоги-те, орали, отменютца. Вот те и отменили...

Подобрался к столу, к агенту, Филька и сверлит из-под клочковатых бровей:

— Ты нам, значит, объясни по порядку, господин-товарищ...

— Ну-у?—буркнул тот. Нудно ему от истекшей ночи, и от того, что за ним, за этим—тысячеглазая злобная темь притулилась: покажется-спрячется, покажется-спрячется.

— Я к тому, например,—слезливо моргает Филька под острым и чужим взглядом агента.—В нашей де-

ревне шиисят дворов и всего-то. Как же это?.. Стало—пошти што по три скотины враз со двора сводить?!

— Что ты понимаешь?—крикнул Василий-коммунист.—С тебя, абалдуя, и вовсе, может, ничо не возмут.

Мужики перекинули на миг глаза на Василья, загудели.

— Ишь, застаивает.

— Лыжник! Забегат.

— Ты мне пуговку-то не крути,—мельком только скользнув по Василью, воззрился Стеннов на Фильку.—Шестьдесят дворов. В волости-то лучше про то знают, сколько у вас дворов. Вам только распределить,—у кого сколько свести. А наложили, значит верно...

— А хто наложил-то?

— Таки же, как ты.

— Наложили... наложили...

— Нас-то не позвали!—орали Рублев и Хряпов со своими подголосками.

— А... а... а...—заклокотало, заворочалось в срубе, и сотни глаз налились голодным гневом.

— Выборные накладывали. Что вы, как псы, стервеете?—пробовал окриком взять Степан.

— Выборные?!

— О-ох!—гневно охнуло собрание.

— А хто их назначал? Ты-ы?

— Василей ездил.

— Василей да он.

— Он выбирал их, глот!

... «Он их выбрал»—рявкнула тайга.

Но и в Стеннове поднялось все. Все человеческое и гордое поднялось против этого нелепого зверя, разинувшего клыковатую пасть.

— Молчать! Колчаковцы вы! Контр-революционеры! Для Советской власти десятину жалеете. Сто тридцать возьмут—еще пятьсот останется. И то жаль! Ну, Советская влась не така — не отступит перед вашим брюхом!

— Ага! Брюха-а... А у вас—животы.

— Ишь орет, как урядник!

— Каки пятьсот? А пало сколь за зиму, за весну...

— Не щитат, живорез!

— Корма-то те каки были...

— Товаришшы-ы... старики... к порядку. Восподи!— лепетал побледневший председатель.

Но поселковцы уже закусили удила:

— Како право орать имешь? Кобель ты!

— Ишь чего расписыват!

— Не просили, да давали. А тут—на!

— Кака Совецка влась? Что он облыживает. Камуния этта!

— Зачем это наша-то влась с винтовками-те тебя, халуя такого, послала?—завинчивал тонкоголосый Хряпов от дверного проруба.—Вре-от он, старики!

— А сам-от чо не жретвашь? Псу под хвост, на гулянку—этто вам.

— Ты гуляжь, а мы—жертвуй!

— Ребенка без куска оставляй!

... «Без куска... без куска... без куска!..» —загремела тайга, и помутнелые от черной злобы глаза, и

заскорузлые руки, судорожно скрючиваясь, полезли к агенту Стеннову.

А тот, волнуясь и не попадая, отстегивал кобур.

Но когда увидали эти его жесты, еще больше завыло собрание. Жажда крови закипела и поднялась до краев. И тайга—тут: машет над ними и красным в глаза дразнит.

Больше всех орал Семен, и Стеннов—уже бледный и отрезвевший—крикнул:

— А-а... ты—н-народ мут-тить? Арестуйте-ка этого коновода, товарищи!

Милиционеры было потянулись к Семену. Но поздно уже было. Прорвало, как плотину, и понесло. Закружились головы потны, со слипшимися волосами, ругань и желтая пена с оскаленных зубов.

Раз только и стрелил Стеннов из нагана и повалил Фильку (бедного Фильку). Раз только и успел крикнуть, прощаясь со странной жизнью. А там—чуть не на части разорвали Стеннова, и лицо—в кровавый плоский блин.

Тяжело, наступая друг другу на ноги и на руки, били и топтали тело...

А милиционеры в гуще никого и не задели и винтовок не подняли. Покорно бросили на пол. Избитых и истерзанных их свели в пустой общественный амбар, заперли и стражу приставили.

Ночью-то, что осталось от кипучего человека, верного революционера, Степана Стеннова,—стащили за Баксу и там бросили в окна, в топь. Хлюпнула топь со вкусом и равнодушно затихла. Только один

пригнутый стебелек стал потом медленно, с отрывами выпрямляться.

Но темный страх и оторопь висели с той поры в деревне.

А тут еще техник Иванов, который в тот день с одним молодяжником ходил по болотам,—подбрасывает, кровью исходя за них, за их темную, как темная ночь в бору, жизнь.

— Эх, старики, старики! Что вы наделали? Ну— тяжело вам,—послали бы человека от себя в губернию. Выяснили бы. А вы—что? Человека убили. Как звери убили!

— Пес—он, а не человек,—храбрились поселковые.—Туда и дорога.

— Кто бы он ни был, но только как слуга от настоящей власти, от Революции послан был.

В отрезвелые на миг сердца—широкие и емкие— от этих душевных, острых слов вползали и гнездились еще большее беспокойство и неуверенность и ужас, колючий, как еж.

Насупился буйный лес—туго обдумывает.

А рыжий, как охра, лавочник Хряпов бегает из избы в избу, сдабривает сельчан, запугивает их и обнадеживает.

— Слышьте! Вы этому технику веры не давайте... День миновал, второй—никто из милиции не едет. Должно самозванца мы спровадили.

А в другом месте нашептывает:

— Не едут голуби. Не до того им, слышь. Народ, замечай, поднялси. И живорезы лыжи навастривают.

Верный человек мне сказывал. Свою бы им шкуру спасти—не токмо што. Так то, други...

И на деревне то-и-се стали появляться какие то «верные» люди, шептаться с Рублевым и Хряповым. Все чего-то нюхали они, чего-то гоняли вершники какие-то, изредка—в сумерки и под рассвет.

А милиция, действительно, как растаяла. Двое же агентских сидели как зайцы и участи ждали, питаясь—кто что бросит.

Ячейковцы дальше стаек днем не отлучались из избы.

— Не дыхають!—злорадствовал Хряпов.

6

Старший техник (производитель работ), который сторонился всяких бесед и боялся всего на свете—щуплый такой, старый чинуша—дня за четыре перед тем уехал в губернию. С местными поселковыми трудно становилось вести регулярную работу: наступал покос, и помаленьку все мужики отставали, переставали ходить в болота. Надо было достать городских, и он думал набрать военно-пленных австрийцев из лагеря.

За отъездом старшего, руководство легло на Иванова.

В такое время!

По омутным и мутным водам широкой Оби—по протокам, по бородатым борам и нарядницам-сограм; по малым речкам-притокам, как рыба

идущая для метанья икры в верховья, — шли злобные, воровские слухи.

Раскачивали столетние кряжи, ломали-рубили кусты и хворост мельчили; мяли поясные травы в лугах и тропы протаптывали к водопоям; а вечерами костры пылали, и над деревнями вскипали облака—смутные и кровавые.

...«В Колывани, что вверх по Оби, — коммунисты с золотопогонниками столкнулись, заграды разбили и власть в городе захватили»...

...«В стольных городах коммунисты большевиков перерезали»...

...«На Новониколаевск, на Томск их отряды двинулись кабалить народ»...

— Эй, мир хрестьянской... На выручку поспешай... Вырывай закопанные-те винтовки! Вилы на копья оборачивай! Не дадимса-а!

Мужики сиднями засели в деревне, и даже Король свою косьбу бросил. Копошились по двору, кучками сходились, толковали и так и сяк о каких-то глухих событиях, особливо по вечерам. И если кто приближался из техников—куда там из ячейки!—стихали и хитро заводили речь про рыбу, про покос, а исподлобья поблескивали:

— Чо слоняешь, шпиен?

Выехать возможности не было—имущество изыскательское на шесть подвод не уместишь: инструменты, планы, провиант на три месяца на пять человек. А тут и одной подводы не достанешь. Председатель валил на мужиков: не могу, дескать, сейчас—

не властен. А те, крутя голову, чтобы взгляда не показать, чесали в затылках, тянули:

— Никак нельзя, Федор Палыч, в эко время от дому. Хто его знат. Вишь ты дело-то какое!

Настаивать, предъявлять права на прогон—нечего было и думать: все равно не повезли бы, либо еще сочли за доносчика и «прикоколи» где-нибудь.

Тайга потчевала:

«Пе-ей до дна, гостенек дорогой»...

Но Иванов просто, если и помышлял об отъезде,— то лишь из-за казенного имущества. Уезжать ему вовсе не хотелось. Страха перед чем-то неясным, надвигающимся он не испытывал и жалел этих таежных, которые перли без дороги, целиной—куда вывезет.

На работы ему ходить не приходилось—не с кем было. И делал он полегоньку накладку планов и профилей. К совершающемуся вокруг держал себя— в стороне как будто стоял. А главное, бродил по бурным, грозовитым местам, как охмелелый, и пил в кедровнике каждый вечер, не отрываясь—из свежего берестового жбана оглушающую брагу.

...«Пей, сынок, пей»...

Вечером, когда все стихает, на опушку кедровника (там, где начинаются таловые и смородиновые кусты и среди них высокие травы с крупными белыми и фиолетовыми цветками-початками)—приходила Варя. В первый раз после покосного пришла она бледная, с тенью в подглазицах и боязливой тревогой в глазах, вымытых пугливыми девичьими думами:

«Улестил, может, токо! Пришел вот, как бурый, разгреб лапой и мед поел. А теперь, поди, смеется: эка—дура девка... Ребятам, может, хвастает—вот де я каков, и Варвара не устояла...»

И шла она не озираясь, будто за делом каким, а вовсе не на свиданку. И, увидев его сбоку у кедровины, вздрогнула и запнулась и четко направилась дальше.

Но он нагнал и головой к груди ее, как в смородиновый куст, припал и в самую гущу зарослей повел.

— Люба ли я тебе взаправду? Али так токо— путаешься?

Откинулся техник:

— Варенька! Как скажу? Вросла ты в мое сердце цепкими корнями. Ношу я тебя в нем день и ночь, а ты дурманишь меня запахом вешним, черемуховым... Качаюсь я, как пьяный хожу. Крепче вина ты: от одной думы о тебе голова кружится.

— Хвастаешь ты, Федя. Ну чо—я? Девка—простая, необразованная...

— Ах, Варя! Духом бы тебя единым выпить всю... И то уж допился я. Все вот мне чудится: тайга—не тайга уж, а хозяйка—старая, добрая и запасливая. Для нас с тобой добрая. А ты будто дочь ее и всеми дарами одарена и цветами засыпана...

— Ну, уж ты... говоришь, как в книжку читашь. Слушать тебя, што в багульнике лежать...

А Иванов целовал ее в глубокие глаза, как росную траву, и зарумяненные щеки ее и ноги, окропленные росой, и губы—трепещущие, волглые и горячие.

— Фединька, мучишь ты меня, не могу я...

— Как чаша ты налитая до краев. И плещешь словом каждым и вздохом через край. Зарыться в тебя, как в кусты, в траву, которую — растет — слышно! Силой от тебя пахнет и чистотой, какая была допрежь еще и только в тайге осталась.

Таяла она, как мед, от его речей и вся отворялась:

— Люби меня, ненаглядный... цалуй меня...

...«Настали времена, и сроки исполнились. Пирую я свадьбы детей. Любитесь, ребятушки, так— чтобы земля стонала и вспыхивали цветы. Так— чтобы яростна ваша радость была, как огонь в горну, а студеное горе—колодезной водой: в них закаляется ратное сердце. Пусть ударяются губы о губы так, чтобы кровь звонко брызгала с них: крепко взрастает все, политое кровью. Крепко цепляйтесь за землю и пойте песни весени, приходящей каждый год»...

Ночи были сумеречно-светлые.

Однажды,—когда он расстался с девушкой и поджидал, пока стукнет за ней калитка, и потом шел по задам,—три тени прытких отделились от прясла и преградили ему дорогу.

Шел Иванов, неся в себе переливающуюся радость свиданья и победный крик соленых на губах поцелуев.

В одной фигуре он признал Семена с толстой палкой-корняком, а в двух других—«некрутье». Подходя он видел, как блестели глаза, и подергивалось лицо у Семена...

— Ну што, сволочь, девок наших портить зачал?

— Вы, ребята, я вижу не с добром,—пробормотал Иванов, ища вокруг чего для обороны.

— Бей его!.. мать-перемать...—взвизгнул Семен, и тяжелая, суковатая палка зашибла со-скользом руку Иванову.

Загоготала тайга:

— Эгей... го-го!..

— А-а...—как от ожога скривился Иванов.—Так вы вот как?

— Так вот... так вот...—торжествующе зашелестели заросли.

— Эгей... го-го!.. — выкатилось обратно из-за Баксы.

Кинулся Иванов на Семена—там уже налетают остальные двое. Нет в руках ничего у Иванова.

Горячее потекло по лбу.

Если чего не сделает—скоро свалится.

Хватается-шарится по мочежинной земле...

И сунулась в жадные руки березка: кустик в аршин. Рванул—взлетела кверху совсем с накоренной землей, осыпалась. И сразу вскрикнул один: попала ему в глаза—замусорила.

Отбежал от драки — ничего не видит, исходит слезами.

Второй растерялся — не знает, что с товарищем. А Семен-ефрейтор озлился пуще:

— Ых, вы—крупа!..

Снова со свистом взнеслась палка, но опуститься не успела: поднырнул Иванов, тушей насел, подмял

Семена. Кусается тот как щенок, только что не визжит,—и ткнул ему техник с размаху в зубы.

Некогда бить—подбегает второй-то, оправился.

Но палка-корняк шишковатая—у техника. Вскочил, размахивает и сам наступает—звизданул новобранца по башке:

— Ы-ыйй!

У Семена—во рту каша, губы толстеют...

Не выдержали оба—побежали. И тот зажав глаза, тоже было побежал, но упал и потом тихонько пошел оступаясь-пошатываясь.

Не стал преследовать Иванов. Вынул кисет и погрозил, издеваясь в спины:

— Я вас, сволочи, перестреляю вдругорядь... Псы-ы!

...«Вдругорядь—цыть!»—перешли враз на сторону техника кусты.

Но бежавшие только шибче припустили.

Левую руку и лоб здорово саднило, а спина ныла в нескольких местах: вот так помолотили ее! Но внутри Иванова гремел веселый смех, пело ликованье.

Увидел измогаленный кустик, в умиленьи поднял:

— Погубил я тебя. Но кабы не это—лежать бы мне также, уткнувшись в мочежину.

А палку взял с собой—память.

Со светом по деревне досконально все разузнали. Семка и двое призванных исчезли из поселка, разъяснив домашним, что техник мстить будет. Они уйдут на время. Куда—их дело.

— Варьку Королеву с техником застали!

Однако, когда о ночном происшествии спросили техника Иванова и о том, почему у него покарябана рожа—он со смехом рассказал:

— Вышел ночью до-ветру и спросонья с крыльца свалился. Руку ссадил вот и лбом кокнулся.

Никто этой басне не поверил, но желанье скрыть историю молчаливо одобрили.

Днем к дяде Михайле, где жил техник Иванов, зашла Варя. Оглядывается, взволнованная. Заделье нашла:

— Тятя на Чигин спосылает, Прасковья Егоровна. В ночь.—А сама глазами выискивает.—В кузню, шину перетянуть... Дочери есь, поди, чо передать?

Глазами косит.

Слышала, как в летняке [1] зашагал и вышел на крыльцо, а потом проплыл под окнами в улицу Иванов—с повязанной головой.

А Прасковья Егоровна, от кросна [2] наклонившись зашептала:

— Ну, девка, цапатца из-за тя зачали. Лешая.

— Страм-от какой, тетенька, Прасковья Егоровна...

— А что тебе? Кабы замужем, а то девка...

— Ночесь-то, встретил он меня—красулю [3] искала в колке...

— Красулю-у... Ну, ладно ино,—согласилась хозяйка и кроснами поддала: так-так.

---

[1] Летняк—пристройка к избе, неотапливаемая.

[2] Кросна—примитивный ткацкий станок.

[3] Красуля—корова рыжей масти.

Варя до слез покраснела и бегло спросила:

— Шибко повредили техника-то?

— Нну-у! Чо ему сделатца, мидведю. Царапины на ем. А Семену-то, сказывают, он полрта вынес.

— И что этто пристал ко мне Семен этот, проклятый. Шишига бы его в тайге-то задрала.

Прасковья Егоровна челноком подмигнула, нагнулась:

— А промежду вами ничто эдакого не было с эттим-то?

— Штой-то вы, тетенька...—пробормотала Варя и поспешила распрощаться.

— Скажи Степаниде-то, поедешь: холосты-те, мол, готовы. Пущай придет, возьмет, — крикнула хозяйка уж вслед Варваре.

В кедровнике на тропе встретил ее Иванов. Он обошел кругом избы, перебросился через прясла и задами вышел.

— Фединька! Чо они, зимогоры, с тобой сделали?

— Да ничего, Варюшка. Ей-ей, ничего: оцарапали только, свистуны...

— Тяжко мне будет жить на деревне...—вздохнула, отворачиваясь, Варя.—Прославят меня теперь: кабы со своим, а то с техником.

— Да ну их к чорту. Пусть славят. В город я тебя увезу. Люба моя... Варенька... жена моя...

— Не про то я. И не надо мне эттого. Бросишь, ай еще чего—затежелею,—сама и взращу, и выкормлю. Смотри-ка, руки-то какие. Как корни—во все вцепятся. Ну, только любил бы ты меня. Ласки охота

мне. Не на издевки, дескать, я себя бросила. А взял потому, что мила была...

7

А злобные, воровские слухи нарастали, черными полотнищами рваными, трепались и щелкали в воздухе.

... «Отовсюду хрестьянство валом валит, мир православный! Деревни напролом идут»...

Тоя становилась все неровнее—кипела изнутри. Но пуще всего проглядывала наивная хозяйская дума.

— Э-эх! До страды бы управиться с эттим.

А Петров день—вот он.

Накануне—воскресенье было—все затихло. О пакете только каком-то,—который вершник, промчавшийся ночью, завез,—дядя Михайло шопотом два слова технику обронил. На вопрос о содержании пакета отрезал:

— Большевицкой должно.

Повстанческий или от властей—не мог допытаться Иванов. Михайло и сам больше ничего не знал.

Мирно по виду полегла спать Тоя, понижая голоса до молитвенных шопотков в углах, как в ночь, окрыляемую вспышками дальних молний. Игр воскресных никаких не было. Варя до заката ушла к крестному в Заболотье, и техник, провожавший ее за Баксу, рано лег спать, осиянный и пропитанный весь долгим расставаньем в лесу.

Спал он крепко и комаров, набившихся в летняк и жучивших его, не слышал...

Вдруг—надоедливо засвиристел в его ушах встревоженный шопот. Отдых был короток—тело не верило, что надо вставать. С усильем открыл глаза Иванов.

Прасковья Егоровна трясла за плечо и шипела:

— Федор Палыч... А, Федор Палыч. Беда у нас... Эти... отряды наехали... с орудьями...

Вскочил Иванов, в низиках подбежал к окошку. В предутреннем холодно-молочном тумане мельтешили люди. Больше всего скакали вершники, иногда с болтавшимся за плечами дробовиком, винтовкой.

— Чо буот-то, чо буот?..—боязливо вытягивала в трубку рот растерявшаяся Прасковья Егоровна—до-смерти трусила она этих «ружжов».

— Михайло-то на двор убег глядеть. О-ох! сокрушат нашу деревьнюшку...

Иванов—не решая, что будет делать дальше,—начал все-таки одеваться. Потом позапрятал в разные щели и под отъехавшую половицу бинокли и планы местности.

Вышел на хозяйскую половину.

— Всее, как есь, деревню запрудили. Несметно мужиков-то. И Семка с имя,—охала баба.

Последние слова—Иванову в сердце,—как веский язык в надтреснутый колокол, дребезгом: по коже и кнутри побежали острые колючки, предвещавшие близкую опасность. Мысль лихорадочно заработала,—подтянись.

— Ты вот что, Прасковья Егоровна: чаем меня напой-ка пока.

— Давно готов самовар-от. И сала принесу—пожуешь маленько. Хто-ё-знат. Как дале-то... Чо буот, чо буот?

И Иванов, как перед дорогой, основательно набузонился.

Солнце с красными веками и глазами выползло из-за согр. Заскрипело крыльцо. Властно зашаркали ноги.

— Идут!..

И вместе с дядей Михайлом вошел человек с винтовкой. Кинул Иванову:

— Собирайся. В штаб тебя требуют.

По улице—человек с сотню, а то и больше—на конях. С дубовиком, с топором, с вилами, у коих выломаны крайние зубья. Редкие с винтовками или шашками.

Летают и орут:

— Долой камунистов!

— Да здрастват Совецка власъ!

В окошках—выпученные глаза и серые лица баб и сплюснутые стеклами носы ребятишек.

А в штабе сидят два брата-кожзаводчика из села в 60-ти верстах от Тои. В рубахах—но важные. И один в пиджаке—писарь, должно быть. Штаб в дому у Рублева. И Семен тут же, подсевает. А губы у него в болячках, говорит—немного присвистывает.

На столе — мясо, жареное кусками, в тарелке и самосядка мутная — в графине и по столу лужицами.

Штабные впились в вошедшего.

— Вот. Привел,—сказал мужик с винтовкой и опустился на скамью у двери.—Ну-ко, Семша... Закурить дай-ка.

— Как фамилия?—спросил в пиджаке и, подумав, добавил:—Ваша.

— Иванов.

— Откуда? Какое в Томске настроение масс?

— Настроение... Что я могу знать о настроении,—два месяца из города.

— А что вы тут делаете?

— На изыскании по мелиорации: по улучшению земель.

— И изыскания-то эти кому пользу дадут? Коммунистам?

— Населению, конечно, вообще. Какая бы власть ни была. Просушатся болота, — удобная земля получится.

— Коммунист... Вы-то? Партийный?

— Нет.

— Как же начальством попали?

— Как специалист...

— Врет он, господа-товарищи,—вмешался Семен.—Он тут всех заверял: восстание, гаврит, от богатых токо может поттить. От кулаков, гаврит. Не вступайте, грит, старики.

— Тэ-тэк. Постой-ка... Жалаешь нам послужить?—подвинулся к технику кожзаводчик Гаврила Сапожков.—Нам, то-ись народу. В армию нашу встать.

— Народу я и так служу. А в армию вашу пойти не могу.

— Поч-чаму этта? Гу?

— Не могу, граждане, народ обманывать.

— Омманыва-ать! — удивился смелости техника Гаврила. — Стало, мы по-твоему народ омманываем. А-а?

— Да вот вы, к примеру, за Советскую власть идете. И против коммунистов. Несуразно...

— Э-э... сволочь, — оборвал Сапожков. — Ты, я вижу, в одну дудку с имя дудишь.

Он зарычал было и сжал кулаки. Но Иванов слишком прямо и светло смотрел ему в глаза.

— Уведите в сарай эттого. К прочим.

Повел Иванова тот же с винтовкой, и Семен за ними вышел. А в сенцах развернулся и с размаху по скуле и глазам хватил техника. Глаз мигом побагровел и запух.

Взревел диким зверем Иванов. Чует, что не будет ему пощады, что вот сейчас кончать его будут. И одна только режущая животная сила задвигала его мозгом, его мускулами: бороться, до конца бороться, зубами рвать до последнего вздоха.

Обернулся с этим протяжным ревом и бросился первым делом на сопровождающего. Сгребся за винтовку—за ствол и приклад враз—изо всей силы рванул к себе. Лопнул ремень у антабки, у плеча, и винтовка очутилась в руках у Иванова.

Хопп!—это было.

Вместе с Семеном, охватившим как клещами техника сзади у пояса,—соскользнул он по трем ступенькам за порог во двор. И тут тяжелым вихрем-вьюном завертелся.

Не мог удержаться на нем Семен, проехался носками и коленками по земле и руки опустил, а в следующий момент череп его разлетелся от удара прикладом—остервенел Иванов.

С распухшим сизым глазом, со сшибленной на бок повязкой на лбу и в разорванной напласты гимнастерке, плечистый и мычащий...

Кругом уже из избы, с улицы от ворот—орали и сбегались мужики, и сопровождающий козлом прыгал около. От сарая, где караульный стоял, грохнул выстрел, и пуля ожгла—пробила плечо Иванову.

Пуля толкнула. Сверлящий и сверкающий инстинкт подсказывал ему: вот как, вот как.

Может быть!

Кинулся. В задний двор, в калитку.

На огороды... через прясла-городьбу... через речку Тою... в вытоптанные скотом кусты, где не различить следов... в сторону, откуда не ждут нападения бандиты—не выставлены посты: в тайгу.

Колотящийся в теле ужас — быть растоптанным озверелой бандой—надбавлял силы и бегу. Как ветер, свистевший рядом с ним, несся Иванов саженными прыжками по воде. Сзади грохотали, улюлюкали, топотали. Несколько дробинок на излете ущипнули спину. Промахнувшись, обиженно пискнула пуля...

Ага! Стихает барабанная дробь ног. Далеко, будто сзади крики...

Шагах в стах за речкой Тоей оглянулся техник.

Только тоинский новобранец и тот, у которого он отнял винтовку, выбрались за ним на берег,

подымаются. А толпа на том берегу осталась. Разноголосит.

— Вали! Вали-и!

— Бросай, робя! Куда он денетца.

— Сдохнет в тайге-то.

— Сам выйдет.

— А винтовка-то, винтовка-то с ем.

— Ружжо-то упер... Ну-ну!

— Ничо... с раной... Куды удет.

Многие уже ворочались улицей в деревню.

Зло съело страх, приложился Иванов и выстрелил.

Владелец винтовки всплеснул руками и осел обратно в реку. А новобранец сразу прилип к земле и пополз, как змея, по обрыву в воду.

Но задерживаться некогда было. Вершники еще могли нагнать: вон уж двое, трое мчат кружным путем через мост. Надо—бежать и бежать и путать следы.

Поэтому, скрывшись в одном направлении, видном всем, в согры, там он круто повернул вправо и почти опушкой краснолесья, выбирая бестравные плешины—понесся к Баксе.

По ней проскользил с версту: плывя, обходя камыши и осоку—чтобы не мять, увязая в ласковом илу.

Полный покой и молчание. Никого не слышно.

Ни звука человеческого.

Одни комары да пауты зудят и ослепляют. Звенят пичужки.

Вышел Иванов на берег, ударился немного в таежную пущу и перевел дух—упал.

Плечо пробитое жгло и болело: теперь он это ощущал так, что зубы стискивал—стреляло по руке и по шее.

Что же делать дальше?

Положение — безнадежное: куда итти? когда это кончится? Сколько дней блудить ему по чаще?

А рану его может разбарабанить, и сдохнет он тут в тайге, изъеденный гнусом, а то на зверя напорется...

Платок со лба он снял: к чему? весь и так разрисованный теперь. Подвязался им по-бабьи: все меньше есть будет проклятый овод.

Пить!

Спустился опять к Баксе и долго и жадно глотал в густых зарослях напрелую воду, а после того лег в тайге в высокой траве за валежник и предался раздумью.

Первое чувство от миновения смертельной опасности и ощущения свободы—потемнело, как поле в ветреный полдень.

Винтовку осмотрел: «Сестрорецкого оружейного завода № 71203»—и в магазинной коробке еще четыре патрона.

Хорошо. Пригодилось-таки колчаковское обученье, когда интеллигенцию в войска забирали.

Теперь—итти.

Итти надо к жилью—так или иначе. И непременно глушью, не по дороге, — не то изловят — прикончат.

Итти туда, где бы хоть немного знали. А то прирежут как куренка или выдадут: коммунист-де.

Одно такое место есть и довольно близкое,—заплутаться трудно: выселок Заболотье.

Шесть верст по чаще, по трясинам... Но там и перевязку хоть немудрую сделают у Вариного крестного и не донесут.

Тряхнул Иванов головой, поднялся, покривился от боли-ломоты в плече и двинулся осторожно, стараясь не хрустеть, не шуметь,—в лесную гущу, в мокрые заросли, на топь, что между Баксой и выселком.

А солнце уже прямо бьет.

8

Целый день гоняли взад-вперед вершники. Была объявлена всеобщая мобилизация, и председатель Сельсовета в пене и мыле бегал от штаба по избам и обратно: собирал ратных и хлеб и мясо на варево банде и наряжал косить траву лошадям.

Отказаться и думать нечего было: до 45-ти лет все, не калеки, должны были садиться на-конь и двигаться с бандой сначала на поселок Чигин, а потом и на волость Елгай.

С теми, кого посадили в сарай,—два милиционера из амбара, четверо ячейковцев и двое техников—был произведен подробный расчет. Милиционеров и партийных били каждого долгим нестерпимым мужицким боем.

Погиб рослый как молодой кедр первый в деревне коммунист Василий; и сухорукий голыш, брат сводный Рублева Егора—Емельян, которого он к себе на

порог не допускал; и безродный парень, хряповский работник Васька Хрущ со своей грыжей-кистой; и Петрунин-домовитый, широконький как верес середняк, с русой бородой и добрым голубым взглядом, с речью безобидной,—от которой, кажись, снега растают.

Исколотые вилами, разбитые ружейными прикладами, растоптанные сапогами,—они представляли из себя огромные смятые битки, мясо перемешанное с лоскутьями лопатины [1]. Особенно Василий—около него постарались Хряпов и Рублев.

Бабам убитых тоже досталось: Рублихой и Хряпихой они были исцарапаны в ручьи, и платье на них висело клочьями.

Вот-то хохотали мужики!

Одного техника зарубили топором, а другого—Кольку Круткина—тоже искровянили, но он выползал на коленях пощаду и ехал теперь вместе с прочим диким ополчением в наступление.

За Ивановым порыскали вершники, порыскали и плюнули: все равно—либо сдохнет, либо им в руки выйдет.

— Винтовку-то жаль. Вот пес-от!

Разведка по дорогам вперед проехала, понюхала; с заставщиками у поскотины покурила—донесла:

— Неприятелев слыху нет.

После того Гаврила-кожзаводчик на вороном—а тот ржет, урусит слегка—речь держал:

---

[1] Лопатина—одежда.

— Граждане-товаришшы! Которы ждали большевиков... Хто пришел? Халиганы... (Тпру-у, ты—чорт!..) Грабители. Бога ругают и дела нарушают. Все идем противу их. Весь народ поднялся. Чо делают с народом—хозяйство рушат. У меня добро отняли, у эттого отобрали, у того разорили. Дочиста обирают... (Эка, ты—сто-ой!) Ну, не стерпела земля надругания — повсеместно, хто с чем попало, противу грабителев идет. Чо дают—от богатых отбирают—ничо. Али и дают—кому? Подзаборникам, зимогорам — в провал. Ка-амуна! Она кому-то — на!—выходит, а кому — нет. Сулят все тако, обманщики. Потому сами мы должны в свое мозолисты руки власть взять... (Э-э, ты—дура!..) Граждане-товаришшы! Не устоят шалаберники перед миром хресьянским. Не дадимса-а! Едем бить камунистов! Бей их, живоглотов! Да вздраствват Советцка власъ! Ура-а-а!

— Ураа-а-а!

— Бей-их! Будя!

— Бе-ей! Урра-а-а!—перекатилось, зарычало по пестрой толпе, нестройно, однако и не больно согласно.

С площади перед школой галдящая армия—кричит, ржет, шумит, спорит, бабы тут же причитают, всхлипывают — солнце уже к западу поглядывало,— повалили на Чигин.

Впереди на вороных игрунах — братья-кожзаводчики Сапожковы с наганами у поясов (как гирьки колотятся на боку и по животу на слабой опояске) за ними—писарь в пиджаке на худой униазьменной кобыле сивой, а там—взводы ополченцев.

Набор каждой деревни составлял отдельный взвод: павловцы, воробьевские, гнилоярцы, боровинские. Тоинскими командовал Рублев, который тоже откуда-то выкопал две магазинки-винтовки и ящик с патронами: живо по запазухам рассовали тысячу.

Всего бандитов было до двухсот. Близ ста, сказывал Гаврила, должны были присоединиться от поскотины—с охраны сняться. Вооруженных винтовками—человек двадцать. У остальных: вилы, топоры, колья, а то и проземленные пятерни одни. Все на вершнях, без седел—на пестриках [1], азямах, чапанах и полушубках.

— Разобьем камуницкий отряд-от — все будет,— обнадеживал сподвижников Гаврила Сапожков.

Но мужики (большая, пожалуй, часть)—хоть и зевали: бей!—ехали опустив голову, а нутро дрожало как холодное.

Дядя Михайло из годов вышел—дома остался. Поглядел вслед, головой покрутил:

— Ничо не выйдет у их. Одно—што в землю произведут их. Сомустили народ-от здря кулачье: видать теперь, хто таки. И техника-то Федор Палыча извели. Ох-хо-хоо, душевный человек был...

А баба его, подпирая черной сморщенной рукой подбородок, как больным зубом мучаясь, раскачивалась:

— Народу-то сколь унистожили, о-о-о, восподи-и!.. Чо буот, чо буот?

---

[1] Пестрик—домотканный коврик.

Томительно и жутко было оставшимся в деревне, ждать событий, а они уже четко и быстро отбивали: раз-два, раз-два.

Откуда это пошло?

От Колывани. Там бывшие белые, головка, заключенные в концентрационный лагерь, ночью перебили стражу и захватили в городе власть. Два дня держались, наводили порядки свои,—но на третий накрыли их подошедшие революционные части, и восстание было подавлено.

Но как камень, брошенный в воду, оно дало круги по окружным волостям. Перед страдой, когда сила скопилась, томила и не было много делов, тогда упал слух о колыванских событиях, темный и вязкий, и всколыхнул болота. Ох, как ждали этого те, от которых отобрали и власть, и почет в семнадцатом.

Велики сибирские пространства и широко разбросаны поселки. Пока-то милицейский район в Воронове стягивал свои силы и помаленьку двигался, расшибая нароставшие комья банд. А остатки катились, да копошились, налипали опять, как снеговые. Тут рассеется—там, глядишь, опять. Вот почему не было никаких властей в Тое после убийства агента.

Но также были вялы и туги эти кулацкие вспышки, так же мутны и слепы как болотная вода, поросшая ряской.

Не успела пестрая и гулкая толпа доперть до речушки Кочегая, откуда оставалось версты три до Чигина,—как вдруг из-за речки с правого берега отчетливо хлестнуло:

— Пли!—и вслед за этим громовой залп.

Два-три человека свалились с лошадей.

Неожиданная суровая действительность глянула прямо в глаза мужикам, пьяным своими криками и кровью и жарким днем. И сразу подрубила все постромки.

Безумный ужас обуял банду, затерзал, заморозил сердца. Вздыбились лошади. Рев, неукротимый вопль — вырвался и понесся в леса.

Давя друг друга, бросились врассыпную люди назад по дороге, вправо, влево, в кусты...

А из-за Кочегея уже трещали одинокие крепкие взгрохи, и тонкие меткие пули сверлили душный воздух.

Сапожков Гаврила что-то орал, махал наганом, пытался остановить сподвижников, но и сам мчался за ними, раненый в ногу.

Шайка рассеялась вмиг, и пешая милиция, числом около симидесяти человек, сначала бегом, потом шагом—пустилась вослед в Тою.

Тоинские, кроме Хряпова и Рублева, которые с Сапожковым ударились за Баксу в непройденную глушину—прискакали домой: бросили коней на руки бабам и попрятались по сеновалам, по задам, в бурьянах таежных, а кто и на поля угнал.

Деревня—как вымерла.

Левое плечо у Иванова горело и ныло, и больно уже было не только им шевелить, но и самому шевелиться. Случившееся за день и то, что он с утра

ничего не ел, и огромное нервное напряжение, пережитое им,—утомили его до крайности.

Солнце давно уже покатилось под гору, и духотная жарынь висла в лесу. Овод жужжал над техником и ел его, как на пиру. Усталый, он плохо оборонялся. Паутины слепили глаза, вязали веки и слипляли пальцы.

Несколько раз он сбивался с пути и возвращался обратно. Винтовка нестерпимо оттягивала плечо, и грудь ломило, а бросить боязно было чего-то, боязно—как без рук остаться. Несчетно раз он выходил к Баксе и мочил пересохшее горло и треснутые губы. Наконец решил он, насмелился итти по Баксе, берегом, не показываясь на реку,—до самой тропки на Заболотье. С час—как издали слышались частые горошистые выстрелы, но потом все смолкло, а помутившейся головой, в которой как гарь стояла, Иванов, конечно, не мог сообразить, в чем дело.

После того обочиной тропы шел он долго: заплетаясь ногами за длинные нити-стебли дикого горошка, спотыкаясь, хлюпая в мягких мочежинах, путаясь в цепких зарослях, подпираясь винтовкой, и, наконец, упал боком между башковатых кочек, в сограх, в ржаную воду.

Обросшие лишаями и зеленой щетью, лапы шумно раздвинули листву—и в ней он еще увидел:

шорокоскулое, прорезанное морщинами, как плугом лицо, с выпуклыми, обтянутыми клочковатой шерстью и седым-зеленым мхом, надбровными ду-

гами; черную спокойно-дикую усмешку, завязшую в желтых клыках,—и услышал хриплый шопот:

...«Ну и назюзюкался ты, гостенек дорогой, сынок названный»...

— Тайга!..

Перед заходом солнца он был подобран милицейской разведкой. С раздутым плечом, с руками и лицом, которые были одной сплошной раной, разъеденной торжествующим гнусом.

Отрядный фельдшер промыл и перевязал раны, а с рассветом отправили Иванова в Вороновскую больницу.

С ним выпросилась Варя:

— Хушь довезу, тятенька. А потом уж косить...

— У, язви вас. Любвя тожа—не ко времю...

ОТ СТРАД

РАССКАЗ

I

...Сухая морозная синь стоит над тайгой неколышно. И не слышно. Только жмет обглоданные осенними днями — голые и вновь запушенные зимними и ласковый мех-снег, березовые сучья до хруста. Или косач [1], смерзший — не в силах захватить изморозного воздуха, который сушью расцарапывает легкие — сверзится комом из широких мозолистых лап кедров; прошорохнет по склеенным настом иглам и упадет глухим стуком: хворый, может быть, с чего, — а в тайге хворать нельзя.

Вызвездило — и ночь пепелеет вверху, а темь запряталась—притулилась в дебри, одеяла подоткнула под бока—и не тикает—как бы не поддуло откуда под пуха и шубы.

Ветер из Барабы [2] — жесткий и острый как кость и жилистый — подхлестнется, поторкается в тайгу, будто в избу, свистя и дуя в кулак на озябшие серые

---

[1] Косач — сибирский тетерев.

[2] Бараба — Барабинская степь. Центром ее можно считать город Каинск, переименованный в Барабинск.

губы; попробует своротить шаберку [1], взбудить: в гости-де, погулять. Но та — только опушками махнет: отстань, мол, леший... Стоит в ней в эти дни, в декабре, густая, сухо-резучая синь-стынь. Гостит.

А бродяга все не успокаивается: бродяга — ветер. Не так, так этак ест.

Вот и сейчас издалека гонит и гонит, денно и нощно и шибко-шибко что-то огромное, ползучее, храпящее — как раненого зверя...

С хрупом и ходко скрипят полозья, а на раскатах, сдерживаясь, скребутся, стукаются в упор обочины и, подкинув половиной, опять спешат и хрупят — дровни, розвальни, кошевы. Обоз целый на рысях. Фыркают лошади и, иногда волчий зачуя вздох, прядают беспокойно ушами. Все синие стали. Изредка звонко и глохло в одно и то же время подаются простуженные голоса...

— Далеко ль еще?.. Эй, ты! Поход что ли?

— А-ась? — очухивается возница от морозной дремы. — Далеко ли, пыташь? Д-версов десить, с гаком

— А чтоб вас чорт побрал с гаком вашим. Идиоты

— Нуноо ты, любезнаай. Аыть...

И опять только скрипят да ухают в ухабы сани! да мороз жмет-прижимает; разрисовывает уборы, тайгу разодевает к утру

Обоз — на крестьянских, с полуротой Отряда Особого назначения из Омска, правителя Омского, Колчака — утикает от Советских войск. Перекладом с

---

[1] Шаберка — соседка.

деревни до деревни, а то и дальше—как понравится. Начальник, штабс-капитан Быдло, Сигизмунд Адольфович, поляк, обрусевший на-вовсе, особенно привыкший к солдатской ругани; с ним младший офицер, поручик Казаков — в первой кошеве. За ними — жена Быдло в тифу, в жару лихорадочном, без сознания — с вестовым и мальчиком-сыном. Потом — солдаты по три-четыре человека в дровнях на сене; здоровые, сытые, тепло одетые — верные части. Один только с полдня заболел и бредил в задних дровнях.

Перегон вот этот — 60 верст. Зато дорога — прямик от Каргата на Томск: по местам, где летом медведь один ломится, да гнус [1] над болотом струнит, а человек не ступает. Однако, зимой — хороший накат.

Великий Сибирский Тракт — по которому прежде, как пища во чреве червя легендарного, передвигались партии кандальников с вечным калечащим звоном оков — набит теперь бегущими объедками полков, клочьями дивизий, обглодками белых армий.

Великий Сибирский Двухколейный путь — по которому прежде возили в столицы составы с собольим и куньим мехом, калмыцким скотом и рябчиками и сплавляли сибирское сладкое масло и пахнущий медом-смолой экспортный лес за границу; а обратно в Сибирь — в зарешетках крамольных со смелыми взглядом и словом людей, выкидывая их в дикие пространства Нарыма и в гиблые, гнилые места

[1] Гнус — овод, слепни, пауты, комары, мошкара.

Туруханска,—путь этот заперт стоящими в хвост поездами — с теми же.

...Трехцветные — «всероссийские» имени Колчака; черные с желтым (Георгиевские ленты) — «учредиловские»; бело-зеленые (снег и леса) — «сибирские»; бело-красные (умирающе-бледная улыбь революции) — чешские, польские... и прочие: всех цветов и оттенков. С жетонными на рукавах лошадями, с крылатыми на погонах колесами, с черепами и костями на перекрест...

Разводящие руками в безответное небо купцы; неунывающие, раскидывающие мозгами дельцы; клянущие с омовением рук высоко-интеллигенты; спецы — адумавшиеся, куда пристать.

С возами добра и в одних пальто и шинелях — в чем ускочили впопыхах.

Тифозные, здоровые, вшивые, обмороженные, дрожащие...

— Пру-у, — выдул в замерзшие губы возница. — Вот язви ее!

Весь обоз останавливается — прекращается хрупь.

— Что ты там опять, падло таежное? — тотчас же раздается сердитый голос. Запотевший дыханием нос высовывается из тулупа, и дедко-мороз не медля хватает за него ноготками, щиплет: хе-хе-хе!

В воздухе щелкает матюк, как расщепленный кнут.

— Д-ссуппонь сппустилла, вваша́ блаародь, — разводит губы мужик, выпрыгивая с облучка и идя к лошади вперед.

— Я те вот дам суппонь. Шкуру тебе спустить, сволочь такая!

— Дыть ваши же всю нарушили ладну-то сброю,— ворчит в наздеванных одежах и задрипанном тулупе мужик у хомута. — Домаивате и конев, и людев — не томко. Теперь на чем ездишь: н-набрывках.

— Подерзи у меня еще. Под партизан подводишь, сучья кровь.

— Не слыхано их здеся. Чо вы, ваша бла-ародь?

— Айда, погоняй-погоняй, не разговаривай...

Быдло везет и монатки с собой: костюмы, перины белье, ковры, золото в вещах. А у задних саней при вязаны два породистых жеребца: прихвачены по дороге. Ай, хорошие жеребцы! Но Быдло—злой, обветренный: красные напирают, и мужики исподлобья жгут мгновенными, броскими взглядами. И жена хворает — хлибкая. А он—мясо, сало, вино—огонь-мужчина. Усы, однако, уж стали опадать и из пышных в щетку обращаться: около месяца, как из Омска выехали — ни сроку, ни отдыху. На дневках — лихорадочные дела. (Такая масса этих большевиков пшеклентых развелось!), — и опять езда. Ночевка и — опять, а где и ночь напролет: опасные места, неспокойные деревни...

— Эй, ты! Скоро что ли?

— Д-верстов пяток, ддолжноо, — обертывается мужик.

— У-у, волчья сыть. Давай, погоняй-погоняй...

Деревня спит. (А может, затаилась!)

— Ты вези, чтобы—с горницей: с вами, барсуками вонючими, — не заснешь.

— Предоставим, ваша блаародь. Знам!

Дом крестовый, с резными наличниками.

Забили в ставни, в ворота.

— Кого?

— Айда, сватья. Отрядны!

— Отворряй, паагганая мужжичка! — шлепнул Быдло, и липкие, как жабы, слова запрыгали из гневного рта.—Будто еще думает: пустить иль нет.

Хозяйка торопливо захрустела к воротам, отодвинула балку, распахнула створ.

Стояла, кланяясь и вертясь, как кукла на пружинах,—темная с иконным ликом. А месяц с неба еще больше тенил борозды жизни на ее лице:

— Пожалуйте... пожалуйте...

Но Быдло не обращал на нее никакого внимания. Выбрался из кошевы, встряхнулся, разминая затекшие ноги и поясницу, и прошел с Казаковым в избу.

Снял дубленый тулуп, а под ним—барнаулка-борчатка, пуховый шарф и катанки [1]) — черные из чесанной шерсти. На барнаулке погоны горят четырьмя ясными в золоте звездочками, и ремни портупейные с револьвером «кольт», а в руке — нагайка.

Казаков — тот победнее: под тулупом — шинель. В ремнях же, с «наганом».

За ними солдаты внесли жену начальника, которая охала и бессвязно шепетала. Ее с мальчиком поло-

[1] — Катанки—пимы (валенки).

жили в горницу. Вестовой Ксюткин чемодан впер и разворачивать начал, а хозяйка, оправив фитиль в жестяной банке с маслом (освещались, кто как горазд был — керосину не было), схватилась за самовар.

— Зыкин! — крикнул Быдло фельдфебелю.

— Я, г-сын кап-тан!

— Людей разместить! И на счет пищи. У меня не церемониться с этими холопами.

— Слушаю-с, г-сын кап-тан!

— Дозорных—по два в концы. И чтоб до околицы проходили. Понял?

— Так точно, г-сын кап-тан!

— Подводы сменить. Лошадей у меня сменить, но кошевы оставь. К утру — чтоб было!

— Слушаю-с...

— Да не напиваться, смотри. А то я вам морды-то разрисую.

— Никак нет, г-сын кап-тан. Не допущу! Как полагается...

— В городе уж вздохнем...

Ксюткин, выложив из чемодана на стол четверть с водкой, ополовиненную, кусок сала и стеариновую свечу, — тоже корпеть — помогать хозяйке стал.

— А муж где? — подозрительно спросил Быдло, оглядевшись.

Хозяйка сразу повернулась и шумно вздохнула.

— Мужа у меня нету, господин начальник. С Ерманской звесья нет. А сына — вот единого, перед Покровом проводила в город. В набор, в войска-те.

— Та-ак. Ты вот что, бабка. Чай мы с поручиком не пьем...

Ах, конфет я не клюю,
Не люблю я чаю.

Пропел-прохрипел он, приходя от тепла в благодушное настроение.

— Чай — это вон — жене и мальчику. А нам — груздочков, масла сладкого, молочка. И зажарь чего-нибудь мясного.

Хозяйка обе руки к лицу подняла и как оттолкнулась.

— Нету, родимай. Ничо нет говядины-то. Филиповки теперь — грех. Сами постуем. Истинный бог... Д'и откудова быть-то? Чо — я да отец вон, дед сляпой и глухой, на печи...

— Ну-ну, рассказывай. Ксюткин, пошарь в подполье и вообще. Удивительно неприятный и скрытный народ, — обратился он к Казакову.

— Мм-даа, — промычал этот, хлопая лафитник и заедая салом.

— Чорт его знает. И когда — конец этой дикой спешке. Хочется чистого белья, прекрасного общества, партии в винт: единственная партия, которую признаю. Ха-ха-ха!

— Мечты это, господин капитан: пробякали все дело.

— Ну, это положим. Только бы остановить этот сброд.

— О-ста-но-вить, — угрюмо усмехнулся Казаков. — Чем? Дисциплина — ннет ее. Связались с самого

начала со всякой иностранной дрянью да с есерами-слюнтяями...

— Я слышал, что у Томска через Болотную будет фортификационная линия. Мне еще в штабе Главковерха...

— Аа... Ни черта нигде не будет: валяйте прямо до Тихого...

Ксюткин откопал откуда-то ляшку, заднюю часть.

— Вот, вашскородь.

Хозяйка пугливо жалась за спину вестового, взволнованно подсовывала седеющие пряди под платок и бормотала, себя не помня:

— Да чо это... Ох, господи Иисусе... Последняя ведь — как есь. К празднику...

— Ах, ты, м-мерзавка. Большевиков угощать ждешь?

— Старуха — я, сынок... То бишь, господин начальник. Мне смерти уж дожидать.

— Ксюткин, позови фельдфебеля...

— Зыкин! Возьми пару хлопцев, да эту ведьму шомполами маленько побуцуйте.

— Заголить, аль как прикажете, г-сын кап-тан?

— Ладно и в юбке. Десять!

Баба завыла, и слезы по сухим щекам — градом-градом.

— Батюшка... пошто эдакой страм... На-а старости...

— Ну, живей. И мужа нет, и сына. Бегают, вероятно, по тайге — большевиков ищут...

Когда экзекуция кончилась, и капитан велел выпить поровшим по лафитнику, — фельдфебель шопотком доложил:

— Девки две есть. Хорошие, г-сын капитан.

— Где? — стукая папиросой о серебряный портсигар, метнул на него взгляд Быдло.

Хозяйка, нахолодавшаяся, с застывшими сосульками слез, тихонько вошла в это время со двора. Увидала, что капитан закуривает и хотела сказать — попросить: «Не палите, мол, тут зелья — старой веры мы». Но отдумала, сломалась совсем и взялась расжигать огонь на шестке, жарить мясо.

— Тут, где я с писарем встал,—продолжал шептать Зыкин.—Одна без матери—за хозяйку. А другая, подруга кажись, на палатях хоронилась. Ну, я место спать высматривал. Брат, сказывают, большевик: в тюрьме, в Томске. Прямо, в соку девки — непробованы.

— Волоки сюда.

— Не пойдут, г-сын капитан.

— Ухаживать, мол, за офицершей.

— Ни-и...

— Не пойдут? Что-о? Волоки! Я их... за брата еще подтяну.

— Разве, что на допрос.

— В два счета. Там, как хочешь. Марш!

Казаков, который сосредоточенно пил водку, хряпал масло с хлебом и ждал скобленку, — поворотился и мрачно процедил:

— Несвоевременно это вы, капитан.

— Аржанушки. Лю-ублю, — прищелкнул Быдло. — И притом это для них лестно потом, знаете, вспомнить: девка — и капитан. Вы не имеете понятия об их психологии...

Казаков — костистый и длинный — молчаливо осуждал и ненавидел капитана. Когда-то ведь он — будучи семинаристом—в политику ударял и о народной доле плакался по пивным. Но потом спился до подзаборника. Война только Германская выправку ему дала и снова кое-какую физиономию. Теперь он был ярым монархистом, но ненавидел Быдло за шляхетскую жестокость и чваную, звонкую глупость. Смотреть даже вот без содрогания не мог в эту жирную, румяную харю с торчливыми усищами...

— Так что супротивников доставил, г-сын кап-тан.

— Ага! Ну-ка, — приподнялся немного из-за стола Быдло.

В мерзлом пару в наброшенных жестких полушалках и зипунах темно-рыжих на распашку, втолкнутые Зыкиным, у двери встали две девушки, свежие как морковь. Дрожа, мяли борта одежи.

— Ксюткин! взгляни-ка, не надо ли чего Констанции Михайловне. Может быть, чего поесть.

Ксюткин на цыпочках проскользнул в дверь.

— Спят-с. И мальчик спит.

— Ну-ка, ты... побелее, поближе,—строго приказал Быдло.

Девушка русая и румяная, с капельками от заиндевелых оттаивавших ресниц, но с лиловеющими от страха губами — сделала три шага к офицеру, тоскливо озираясь.

— Да сюда, сюда... Не бойся — не съем, — осклабясь подманивал Быдло.

Выпуклая, молодая фигура крепче вина взмывала его, а робость распаляла: робость и застенчивость в женщинах больше всего любил капитан.

— Садись. Вот, у стола на лавку. Да ну — садись. Что ты, как оглобля, — прикрикнул, сердито блеснув и встопорщив усы.

— Боязно... не доводилося... пужливая я, — пролепетала девушка, пробуя виновато улыбнуться, умилостивить.

— Поручик, прошу заняться с другой. Допросить, как и что и какое хозяйство, — подмигнул Быдло Казакову, а фельдфебелю кинул:

— Можешь итти. Смотреть, чтобы дозоры—на чеку.

Фельдфебель стукнул оборотом и исчез. Ксюткин уже храпел у железной печки прямо в шинели и во сне царапал тело.

Казаков, поморщившись, вяло и нехотя протянул:

— Слушаю!

И мотнул чернявой.

— Придвинься...

Эта бойко подошла и остановилась наискось у стола, в упор и смело-недружелюбно уставясь на поручика. Он помычал, вытянул лафитный и заглонул груздем.

— Большевики есть в деревне? Как тебя?

— Татьяна. Каки большевики? А чо мы понимам? Я — девка и не вяжусь.

— А дезертиров укрываете?

— Каки дезентеры? Сказываю — девка я...

— Да что ты мне: девка, девка... С прибором навяливаешься что ли?... Чорт!

Но девушка прямо и не мигая смотрела на долгого поручика: только тронь-де!

— Ну, ступай, — сплюнул Казаков (и то противно ему было) и твердо повернулся к четверти, черкнув наганом об угол стола.

— Оня, тя пождать ли-чо-ли? — совсем осмелела допрошенная.

— Пожди-и... — моляще пошевелилась та.

— Допросили — и марш вон, — цыкнул Быдло, укоризненно сверкнув на Казакова: «Обедню портит. Хам».

Татьяна выскочила, но побежала не домой, а тулясь у изб — из деревни к реке, а по ней на мельницу...

А с Оней так было:

— Боязно тебе. Как звать?

— Оня... Анисья... По отцу — Потапова.

— Фамилия?

— Фамилия... Голодаева.

— Ну, так вот, Оня... На-ка для храбрости, — долил он ей свой стакан.

— Штой-то вы, господин начальник, Не пьющи мы. И Филиповки теперь...

— Пей!

— Девушка — я, господин...

— Пей, говорят! — приподнялся, гневея, Быдло и сжал копытце нагайки в руке. — Брезговать вздумала...

Оня, трясясь и сплескивая, взяла посудину короткими и пухлыми еще, хоть и шершавыми, пальцами.

— Нну-у?

Выпила, закашлялась, брызнуло в нос. Торопливо утерлась концом полушалка и уперлась опять в гневистые глаза капитану. А в горле жгло и першило.

— Садись, — рукой за плечо принизил.

Села снова на кончик лавки и — от того, что неловко сидела, и от гнетущего ужаса перед неизвестным — ходко дрожала левой ногой.

— У тебя — брат-большевик в тюрьме? Оратель?

— Кой? Григорий? Набольший — это так. Изàболе [1], слово сказал. Ей-бо — боле ничо. Мужик он — обнаковенный, робочай. Ударил его милицейской — летось ишо — и забрали...

— Знаем мы: все вы тут — большевики, дьяволы... по осинам перевешать.

— Прости, пожалуста... Ей-бо, неповинны, — рухнула вдруг Оня. — И Григорий... чо он сказал? Не согласно, мол, с законом... жалиться буду. А его заграбастали...

— Вставай, вставай, — и сам поднял ползавшую девушку под крутую грудь. Крепче усадил на лавку и тяжкий хрусталь опять наполнил. — На, выпей. Успокойся!

— Д-не могу я, — с мукой выстонала Оня.

— Ты меня не серди, чортово опенье, — вспыхнул от сопротивления Быдло. — Иначе я живо тебя в город свезу. С собой же...

Девушка шарахнулась, а потом в отчаянии схватилась за стакан и опрокинула в рот. Задохнулась...

---

[1] Изàболе — и верно.

— Сорвет-ыть меня... О-ох, тошнехонько...

— Ниччего... — покачивался над ней Быдло. — А мужики какого настроения в деревне?

— Не пойму я... Чо — я, — мучилась Оня.

— Ну, мужики: что насчет власти думают?

— Да мужиков пошти што и в деревне нету.

— Где ж они?—засверлил Быдло.

— Де-е... Мужики-то... они, вишь... — дрожа и путаясь, начала девушка, болезненно сморщила лоб, стараясь найти ответ.

— В подводах больше... И вдавне ишо, в город с сеном двинули. Не ворочаются,—надтреснутым голосом, торопливо, но четко вставила хозяйка, сидевшая во тьме, в углу, с приспущенным черным платком на глаза, которые уже высохли и горели.

— С сеном вот... — спохватилась и Оня, безудержно хмелея.

После того еще два раза заставил ее выпить Быдло. Заподжимался, а она отпихивалась по лавке...

— Можешь итти...

Оня привстала, но тотчас же опять села, а потом тяжело-тяжело, опираясь на лавку, поднялась и волочась пошла к выходу. Но Быдло подскочил и поддержал ее под зипуном.

— Эх, девушка! Помочь придется тебе.

Закрывши дверь, он в сенцах схватил ее совсем и грузом навалился, увлекая на пол. Бороздя пальцами по выгибам бревен, упала девушка:

— О-ох...

... — Ну-у... чего ты-ы... О... во-от ду-урная...

— О-ох, не тронь ты меня... барин... ради Христа... сговорена я... Ну-у... — вязко и хворо противилась Оня.

Голова мутнела, и силы — отбросить — нет: пьяная, пьяная...

...Так растлил Быдло Оню...

В избе слышали возню в сенцах и понимали, в чем дело. Но Казаков мрачно тянул водку, тыкая хромую вилку в жесткую скобленку или поддевая шлепавшиеся обратно в тарелку огуречные кружочки и скользкие соленые грузди. Пыхал черной, протабаченной трубкой. А хозяйка истово из угла крестилась на медные образа и шелестела губами — осенними листьями:

— Матушка-заступница... пресвятая богородица...

Нет, штампованные лики были тоже невозмутимы, а коричневый — одинаково слеп и смутен — как прежде. И напрасно метался бедненький верующий язычок неугасимой лампады, стараясь выискать дрогнувшие черты сострадания. Он видел только переливавшуюся скопческим жирком медь и краску, а отблеском с потолка — старого слепца, свесившего в приступе астмы ноги с печи, мертвого ко всему...

II

Жила деревня Логовушка — до бога нет дороги, до начальства — не найти, — царевной-лягушкой меж болот в бородатых борах, в шепелявых сограх [1]: у тайги

---

[1] Согры — лиственный лес по болотам.

за пазухой. Рос ли хлеб там или нет, — рос, должно быть, —весной и осенью колупались логовушинцы в скупой на зерно земле матерыми сабанами кряхтящими. И подати выплачивали; а которые не выплачивали, из тех выколачивали — всегда было чик-в-чик. Но если хлеб рос не богато, зато трав было — покосных — море поясное, июньское, разливанное. Рябчиков и косачей угрюмых — в тайге, — носить не переносить, только бы пороху да дроби. А от рыбы в речке Мокрой — морды и невода расползались.

И по праздникам — в рубахах до колен, расшитых мудреным рисунком, в поясах с кистями, в плисовых наследственных шароварах с напуском до набору в сапогах,—подковным плясом убивали сырую землю-мать в ладонь, слушали ау-гомон-топот за рекой Мокрой:

Не бреши, Палкан,—
Это мой Иван.
Он шары не разлепил—
Девять раз меня побил,
А в десятый—я его
Долбанула пьяного...

А гармонь с перестановом, заливчатая, как подгулявшая молодуха, выспрашивала:

Д-што-ты-што-ты-што-ты-што-ты,
Осердилась, либо што...

Эх, как жили-и! Почитали всех святых и урядника Ахова пуще всех. Ломали, конешно, шапки перед каждой кокардой — от поклону голова не отвалится; имели лишние зубы для умудряющих рук удосужив-

шегося начальства и полы зипунные жестокие на утирку крови — это в порядке вещей. Чем же похвастать в задушевной беседе в воскресный день мужику? «Земской этта приезжал — ну, рука, ну, рука: еле выстоял. А выстоял жа! А зубов-то ищо — и-их! Хватит!» И верно — бывали и такие, что до конца жизни лен перекусывали: все целы. Не угадывали.

Бывали, по правде сказать, и лихие года: и голод, и пожар, и мор — и мерли, как мухи, и поселком ходили по миру... Было всего, что поминать... Помнится, что было тихо и благолепно, тепло и духовито-пьяно, как в ряме [1] таежном в летний жар. Не говоря всем (богу на всех не угодить) — но Коробову, например, было; Кулакову Трифону — было. Остальные надежду имели, не жаловались, и разве один Митькин ходил завсегда растроенный. Баба ему все девок носила и ни одного сына — наследника нозреватых и упористых дум и скупых, в раскарячку слов: «Спорчено чо в бабе, ай так?» — искал он причину. «От господа это, Федор. А можа, и порча есть», — наставляли поселковые... Так и текло и текло...

И вдруг! — Кажется вот: ходило по земле Горегарь, неприкаянное. Разгребло затянутое ржавью болотце и увидало чалдонов: — Эка, ладно как живут — хлеб еще даже жуют. Подикось ты! Кабы с жиров беситься не начали... И сунуло бумагу в волость, из волости нарочным в поселок: за черной печатью бумага — в самую страду. И прощупало мужиков

---

[1] Рям — таежное болото.

и баб логовушинских слово, широкое и костлявое, холодное, жгучее, мокрое—война!

— Идет проклятый германец полонить-отбирать землю, давить веру отцов.

Взмигнуло тенью это слово — будто задумался кто-то большой-неохватный, охнул и затмился. И были те же дни и жарынь со страдой сиротской и пропахшая мякиной и прелью осень и зима. А так и залегла эта тень вечной тучей, и то-и-дело издали проблескивало смертной молнией:

— Подавай! Эй, подавай! Людей... Людей, слышь, не хватает.

И каждая молния заливалась проголосным бабьим воем и слезами и молитвами—горький полынный настой.

Не вернулись из срок солдатчины отбывших Телегин и Зайцев. Забрали Пролубникова, Илью Хребтова, Ваньку Голова — удалой молодяжник, которые только что до дела и девок доходить стали, увидали густую жизни сласть. Ушел обиженный бабой Митькин, угнали могучего на работу, веселого общественника Медведева и домовитого кержака Коробова, и даже Кулакова — в запасную бригаду в писаря. Провожавшие за двести верст видели:

— 40 человек, 8 лошадей. 40 челов. 8 лош...

Девки, налитые до краев кипящей кровью и родовым томилом, клонились ровно земляника в руки подростков-сопляков-муравьев, или под старую тень снохачей. Бесплодные—сохли, как осенний бурьян, загнивали, как картофельные клубни в земле. Было ли

это слыхано — совсем ослаб народ. Солдатка Митькина, Фекла, долго тянулась одна с девчонками, впроголь и впроголодь: «Сбудет война — вернется мужик». Но когда убогую полосу ржи побил ядреный град и «оттуда» достукалась весть, что Митькин пал «за веру, царя и отечество»,—сломило Феклин дух. И за выдачу в срок пособья, сходила она в овин с Катайским старостой и пошла по рукам. Сидела дымную желтую самосядку в чугуне, торговала и ей, и собой: бутылке—цена полтинник, хозяйке—четвертак!

— Эй, подавай, людей подавай!

40 чел. 8 лош., 40 чел. 8 лош.

На третий год вызнали: пропал без вести Коробов. Привезли разбитого контузией Зайцева — не сгибаясь, мутный стал бродить по деревне. На третий год понесла Фекла и родила мальчишку, оттого отчаянней загуляла, а трезвая плакала: «Эх, Федор! Направилась я — а нету тебя, не увижу уж сокола ясного». На третий год воротили Медведева—заполз на руках в родную избу. Ощупала мать обрубки под брюхом: «Сыночек ты мой, кровиночка»... — и закатилась. А жена его—единый конь на хозяйство—долго выла волчицей на всю тайгу, а потом вышла на двор, на собравшийся народ, и заявила, серая-серая:

— Отказуюсь. Православные! Старики! Не примаю. Пятеро у меня этаких-то... робят. Ну, те хошь растут... Растут, говорю... в работники хошь. А этот—камнем на мою грудь... на шею... Не примаю. Ежли мир взял— пусть содержит. И моего согласья нету...

— Как этто? Што ж этто ты баишь, сука? А бог-от?

— Нету бога. Нету... нету!

— Поучить ее надо, старики. Выбить беса-то! Бес это в ей говорит...

Когда сбросили царя, еще воротились Телегин и Пролубников, рассказали, что жив и Илья—остался в городе. Эти вернулись с отметинами узластыми-синими от пуль, со швами от сабель — обугленные, с жестким очерком бровей и рта, с верой не в бога, а в рабочую силу, с новым словом—большевики!

— Товарищи! Нету противу нас врага, окромя всяких господ.

— Кто такие?

— Большевики. За то—чтобы по домам.

— Это—наше!

— И чтобы—без бар и начальства!

— Нашшаа... Давай сюда!..

Вскоре пришел и Илья Хребтов и стал первым председателем Сельсовета. Но весной согнали большевиков в городу, и опять раздалось:

— Подавай!

— Нету для вас,—решила Логовушка, уперлась.

Наехала милицмя ловить уклоняющихся — ушли в тайгу Илья и Пролубников и все, кого звали...

Зима. Лето. Зима. Гудит земля в пурге, крепко стоит тайга, и в свинцовом небе на западе стелется красное знамя; ближе и ближе грозная буря, круче вертит поземка. Ближе красное войско—гуще и сорней бегущие толпы белых, и много уж через Логовушку прогнало ихних частей. На восток, на восток!

Скот вырезывали на мясо—никто ничего не платил, и спрашивать—упаси от того. Хапали, что доброе или понравившееся из имущества и обихода крестьян, накладывали на хозяйских же лошадей и хозяина еще везти принуждали: не едешь—башка долой! Мужики тянулись за лошадьми, за упряжью, но проехав шестьдесят — сто верст, бросали: убегом, немо хоронясь (случайных и встречных бегуны колчаковские заворачивали), — истерзанные добирались до дому. Спохватясь, перестали держать в деревне скот и коней: на полях у сторожек пасли, на пасеках, у зародов [1]. Сами же сбились в отряд вокруг Хребтова—с соседними деревнями—23 человека. Рвали и клочили разношерстные войска белых темную тайгу—вороватым тифом и злобным террором,—и раненым зверем ревела она, медведем; встала на дыбы и Логовушка. Оружия скопилось вдоволь—и от германской демобилизации, и от нападения на одиночек и мелкие отряды колчаковцев, а отряд хоронился на мельнице и в помельной избушке, в трех верстах.

Про заехавших в деревню—знали: четыре мужика и два парня придули сразу же:

— На тридцати подводах—и с хабарой [2].

— Сытые лешие, как пауты.

— До зубов обнаружоны. Караулы выслали, сволочи!

— У кержачки, у Коробихи, начальники ихи стали. Двое!

---

[1] Зарод — огороженный на лугах склад сена.

[2] Хабара — имущество.

— А к Голодаевым — фитьфебель с писарем и унтерье.

— Опять попотрошат, в бога их...

— И чо этто красны: идут-нейдут...

Илюшка решил — нападать опасно. Подростков, Оську и Проньку, подослал сменой наблюдать и доносить — «сей минут». Мужики поскреблись немного, погалдели и спать настроились — кто сидя, кто как. Вонь, махра, духота, фитиль в чаплашке [1] с коровьим маслом чадит; а по пластам спертого воздуха ползают выпотные дремотные речи...

— Слыхано, от Ново-Николаевска отвалили. По семисят верст, сказывают, кроют красны, а белых никак не догонят. Вот стегают, дык стегают.

— Чо ты. Прямо армееми в полон берут. Всее зараз не схватишь Сибирь-ту.

— Ну и силища же эттих прет! Как бараны.

— Бараны-те! Волки. Хужее волков: варнаки [2] ...

С полу — курилось. Кто уж похрапывал с высвистом.

— Э-эх, замотали у меня Карего и Сивуху. Кобыла-то кака была: Катайскай поп извелся с завидков-то...

— А я сам с упряжью бросил. И с кошевкой. Отступился. Аж до пристани гнался — отступился и удрал. Просился, ревмя-ревел — по зубам заехали и скулу посулили свернуть.

---

[1] Чаплашка — неглубокая посудинка, вроде чашки.

[2] Варнак — беглый с каторги: разбойник, отличавшийся жестокостью.

— Нет, я, брат... Одново, с бабой ишо евонной, вез. Как слепня смахнул: вызволился...

Вдруг в помельную влетела Татьяна: полушалок к шее, зипунишко так и не запахнула, а вся в поту:

— Мужики... вы чо жа?—задыхается.

— Да ты чо, курва... Ослепла, ай не видишь? На морду наступаешь!

— Прости, дядя Мокей... Илюшка йде?

— То-то прости... Прет, как бешеная...

— Белыи озорничают... Оньку... Жена в горячке, а он...

Илюшка рванулся от стола, где на руках дремил:

— Чо они? Чо Онька?

— Приставили с солдатами... выспрашивают и вином поят. Меня и ее... Я-то отбрехалась—отпустили, а Оньку оставили... Севастьяновну пороли. И в других грабят, выгружают последи, — прерывисто сообщила Татьяна, теребя то полушубок Илюшкин, то полушалок передергивая за концы.

Илюшка затрясся. Мужики сгрудились.

— А у меня? А у меня?

— Одно у всех,—простонал Илья.—Братцы, айдате в бой на кровопивцев!

— Айда-а... Не одолеть! Себя здря стравишь!

— Да ведь насилуют!

— Ввоот—гнус-от!

— Так и зорит, так и шьется на Оньку-то...

— А чо... От этого не убудет,—позевывая протянул от дверей Мокей.

— Боров ты: привык из корыта...

— Подумаешь, ты — енарал породистой, — огрызнулся старый Мокей. — На серебре жрешь, едрена мышь?

Мужики гудели и топтались.

— Оно бы следоват—ну опасно!

— Ндаа. Сорвется—уничтожат—искрошат!

— Дыть ддеревню сожгут...

— Один я тогда, ежли не согласны, — отозвался Илюшка, перекидывая винтовку и решительно направляясь к двери.

— Сдурел ты, Илья. Ополоумел, — задвигались прочие.

— Постой, Илья. Я — с тобой,—подвешивая к поясу ручную немецкую гранату, удержал его Потап. Плотный, кедровистый мужик, отец Они. На словах—короткий.

На то счастье Оська-соглядатай прибег. К Илюшке. Часть его обступила, часть захлебывающуюся Татьяну слушает.

— Я бы его, язви его, гада... Враз бы шары-те выдрала и рот бы откусила, поганый...

Оська доложил:

— Сорок шесть,—ну по избам расшиблись. Пошти што все пьяны вдрызг: без задних ног дрыхнут. У Севастьяновны буруют, да дозорны в крайней избе, у Феклы, вино глохтят и в карты шпарятся.

— Ну, товарищи... Вы, как хотитца, а я иду,—снова двинулся Хребтов к выходу.

— Д-постой... Погодь...—всколыхнулись от раздумья мужики.—Вместях уж: одни страды-те!

— Идем, робя: одно—пропадать-то. Может, управимся.

— Да оно ежели с умом, старики...

Совет держали, вырешили:

Семь человек—на дозор напасть.

Пятеро—к Севастьяновне.

Остальные—по трое—по избам.

Без шума. С задов [1]. Бить сонных—прикладами, топорами.

А мужиков-возниц прицыкнуть.

Телегину Авдею на дозорных выпало итти. Илюшка и Пролубников—на начальников, выручать Илюшкину невесту. Оська тоже с ними шестым увязался—охота боя испытать.

— Неудача ежли—до-последу стоять: все одно—смерть. А ты, Татьяна, бабов упреди, которые наши,—наставлял Хребтов.

— Д-рази есь за их, за иродов?

— А у Кулаковых есь кто?

— У их—пять солдат.

— Тут—тихо. Сам—сволочь—подхалим, дошлый и сторожкий. Телегин, ты к нему же—опосля дозорных.

— Небось, он увернется: ни туды, ни сюды. Геена,—сплюнул Пролубников.

— Мотри, штоб крайно токо стрелять...

...Перед деревней отряд свернул с реки-дороги в заросли и пошел целиной, по грудь в снегу. Подошли и тут уж окончательно расшиблись: Хребтов и

---

[1] Зады—задний двор.

которые по избам — дальше гущей, в обход. Телегин со своими, пригнувшись,—к Фекле: изба была с краю на чистом месте.

Шептали потные:

— У-у... снега...

— А вдруг зачуют... В момент сковырнут...

— Чш-ш...

— Афонька-а! Ты чо винтовкой-то, как бодагом, костыляешь... Подмочишь, говно,—сипел Телегин.

Прясло хрустнуло.

— Ш-ш-ш ты, шпана-а... б-башку оторву...

Но с дозорными дело двух минут вышло.

Одного прикололи на дворе, у сарая. Только окликнул:

— Кто тут?

А уж ему—каюк.

Телегин — в двери, остальные — за ним, в семь глоток—но сдавленно:

— Стоойй! Ни с места!

У тех—глаза наружу, как у раков. Винтовки? Нет— у порога, у печи. Один нервно рукой махнул — уронил бутылку, розлил на испросаленные карты водку. Другой—боком у стола с винтовкой меж колен: и не взял, выронил, захрипел—прямо в грудь штыком пришлось. Двое в углу под образами, столом прижаты, руки подняли—окрутили их.

У Феклы на полатях еще один оказался: Зыкин, фельдфебель, — любезничал. Хотел он из револьвера бить сверху, но Фекла из-под него в горло вцепилась—когтистая, злющая рысь.

— Бац!—глухо, как в бутылке, хлопнуло на полатях, и дымом заволоклось, а тут Телегин с приступки двинул фельдфебеля прикладом в затылок. Задергался тот и револьвер—на пол.

Фекла только вместе с взгрохом вскрикнула:

— Оейй... Простите православ... помира... юу...

И стихла.

Ребятишки, троица, там же наверху — захныкали:

— Мамка... мамка...

— Гаранька, ты — у этих. А мы — айда, робя... скоре-скоре—по фатерам.

— А я—чо? Кончить ба! Все одно! Солить их?!

— Ну, кончай!

Связанные забились, завыли:

— Братцы, пожалейте... с вами...

— А вы—жалели, варначье...

— А-а-а...

— Скоре-скоре...

У Илюшки зубы стучали—за Оньку:

«Лапушка... тихая моя... У, стервятники—изрежу по куску».

Возницу—коням корму задавал—притишкнули.

— Господи Иисусе! Я—ничо. Ей бо—ничо, товаришшы... Такой жа...

— Этто наш: из Окрайной—Мерзляков.

Овчарка цепная залаяла—зашибли.

Илюшка вперед, не поспевают за ним. А тут из сенцов—Ксюткин с Оней, выводит ее. Ксюткин уви-

дал—не обнял всего, но бросился назад. Мужики—на крыльцо.

Подняла Оня голову и откинулась на косяк, а потом сползла на колени.

— Илю-уша... чо они исделали... запоганили... Илю-у-шенька!

Сцепило клещами со скрежетом боль и злобу сердце Хребтова.

— Удди... пад-даль!—и пнул катанком в лицо.

Сам кинулся за мужиками в избу,—а Оня, как была, так и осталась на крыльце, припала к грязной наморози и зарыдала пьяно и горько:

— Ма-амынькааа...

Быдло уже отдыхать на лавке примащивался.

— Ка-анфета — не девка! Пьяных не люблю — а иначе нельзя: шумно! Напрасно вы, Яков Иваныч, ту отпустили. С огнем была.

— Пакостник вы, капитан. Народ этим восстанавливаете,—сурово и с отвращением произнес Казаков, отталкивая пустую четверть и грузно подымаясь.

В это время в сенцах затоптали.

Казаков прислушался и руку положил на кобур, а Быдло приподнялся на локоть.

Ворвался Ксюткин и заревел:

— Ваш-бladродь, банда!

Мокей и Оська враз впереди,—но Казаков спуск нажал. Ахнуло и кольнуло в живот Мокея, завертелся, заскулил старый Мокей. Винтовка покатилась, загрохотала, а он — обеими руками за рану: зажимает, вместе с Ксюткиным корчится на полу.

Быдло завизжал и босый из-под шинели метнулся, опрокинул стол. Зашипела свеча и масло из чаплашки — свет потух: одна лампадка отчаянно замигала, захлипала от хлынувшего воздуха, будто хотела разглядеть.

Хребтов с порога видел, как Быдло нырнул в горницу—бурей в след. Отчетливые, но беспорядочные всхлопы из капитанского «Кольта»—мимо, второпях. Дым пороховой, едучий, топот, возня, хрипы. Невредимый Хребтов кряхтит:

— Аг-га-а... г-га-ад... поп-пал...

Облапил за предплечья капитана, тот в последний раз пальнул—себе же в ступню, крикнул—и упали оба. Силантий из Волкова тут, на подмогу.

— Оп-пояску... оп-пояской вяжи,—пыхтел Илья.

Мальчонка Быдловский, лет восьми, страшное смотрел, впитывал, но вдруг с плачем вцепился зубами в икры Илье. Еле отодрали и стянули вместе с отцом.

А больная будто пришла в себя, села, подпираясь руками, но вскрикнув—опять откинулась в подстилку и забормотала торопливо-торопливо, заметалась...

Чернеет морозная синь вверху: утренник бродит и задувает звезды. А внизу встает белесое, мутное—перед рассветом. Укрываются от глаз и тайга и избы—одна ледяная изморозь трещит и густеет вокруг.

Возле брошенного овина, старого—им еще Митькин перед войной владел—в белесой мути мельтешат люди. Туго подпоясанные, в овчинах. Лица волосатые, заиндевелые и взрытые сошниками пережитых тягот, а глаза—дичающие, красные...

— С имя—одно,—и с мертвыми и с живыми.

— Этто верно: сжечь их—боле ничо.

— Сколько волку хвост ни руби—овцой не станет.

— Вот-вот, гляди, новые наедут.

— Мстить будут—у-у-у!..

Трех своих потеряли партизаны, не считая Феклы: двух Казаков, угрюмый и угловатый, уложил. Дядя Мокей и Пролубников жизнь отдали. Но потом и сам Казаков, весь исколотый, рухнул. Оське, вострому, быдловская пуля рикошетом оборвала кусок уха.

Третий был Потап: сам сгоряча гранату фурнул в писаря. Писарь погиб и он—всего исковеркали осколки.

А белых перебили дочиста. Пятерых уж у овина пристукали и мальчишку Быдловского на виду у отца. У Быдло выковыряли глаза, рот с зубами в кашу смешали: уши, нос—все концы обрезали. Сам Илья отпиливал, скричигал и твердил без ума:

— Собака... собака... собака... Во всю жись, как в колодец харкнул, собака...

Трупы белых свезли к овину, дровами переложили и запалили.

— Жаль овин-ат!

— А-а, леший с ним. Новый—будут времена—сустроим.

— А ету, горячешну то—куда?

— В огонь, в огонь,—заревел Илья.

— Ай оставлять на доказ?

— Нет, уж: все, дык все... все сляды...

— Ндаа, робя. Теперь на-особь держись...

Огонь жарко пылал, вылизывая черный сумрак яростно красными языками.

— Ну, холодина, язви ее. Вот давит—дыхать не дает.

-- Загважживает. Однако, надо управляться итти.

— Андреич, моих-то погляди. Стоят ли?

— Мясничек-от, мотри, на тепло прихлопал. Смерз, болезный,—подхватил трепещущую, желтопузую птичку Телегин. Заложил за варежку и дуя на нее, понес к избам.

Все расходиться начали, а Илья сидел на пне против костра; уперев голову в руки, смотрел в заботливое пламя. Дум у него не было вовсе—деловых уместных дум. В груди что-то громоздкое и жгучее ворочалось, какая-то злая на себя обида, а в голове— смутные, как в сумерках с поезда станции и разъезды на фронт, скользили мысли. Баюкал глаза, тяжелил веки—ласкаясь теплом огня.

...«Митькин овин-то. За что погиб Митькин? И овин его жгем. Горят старые овины. Россия горит как овин. Палим ее старую-то. А жить-то зачнем! Когда догорит — строиться будем. Сруб-то вот мой стоит, стоит. Время придет, поставлю избу. Подыму и хозяйство нарушенное. Рушат, сволочи, все в последний свой час. Рвут»...

«Слышите вы! Росла Оня, тихая и улыбчивая, как елань-поляна в мокрых сограх... Когда это было в первый раз? Приехал Илья Хребтов, былой пастушенок с фронта. В летнее время, в страду—что делать в деревне? И он по пути уехал в луга на По-

тапов покос. Затянутый в форму лихую, был он оттуда, где вечные взрывы шрапнелей и ругани режут воздух, а лица людей—обветренные в злобе, насупленно злы. И ласковый смех поясных лугов, и ветер хожалый в родимых кустах—мягчили ожесткое сердце.—«А ну, погоди-ка, отдай-ка и я покошу», сдержал он литовку у девушки. «Ай, да уди», захватилась покрепче Оня. «Слышишь? А то вот подрежу». И ровно чего застыдилась. «Немцы и то не могли, так где ж тебе?»—посмеялся и дрогнул Илья. А сам—на берег—отымает. «Да ну же? Мешаешь ведь!»

«И вправду, Анисья,—отдай-ка! Ему-то в охотку, а ты бы кваску поднесла!»—заметил, в усы ухмыляясь, Потап. «Да што это, тятенька: гостю-то ровно робить зазорно».—«А ты бы, Анисья, сполняла—отец говорит», сказала и мать, махнув под траву возле них, и строго взглянула. «Егорку проведала б там: не печет ли Егорушку солнце?»—«Пристал вот, лешак!» прошептала пунцовая Оня и, кинув литовку в кусты, побегла до телеги... Что же он делал в лугах у Потапа? Косил целый день до великих потов, а дня не упомнить ему веселее и слаще.

— Брось ты, сердяга! Обомнутся горя—преизбудут страды-те! Увидам ишо хорошу-то жись,—тронул его за плечо Силантий из Волкова.

Илья—мутно и не понимая—поднял голову, а потом и весь поднялся и шатаясь пошел к деревне.

Сухие, таловые и березовые сплеты овина весело потрескивали вслед, а несколько подростков подбра-

сывали сучья и гоготали, утаптывая стаивавший от жары снег. Их будущее еще цвело там еще, впереди— за бубнами-загорами. В огне, в холоде, в голоде они вырастали железными...

Медленно шел Илья.

...«В восемнадцатом, в марте—сухие-пламень декреты и вязкие речи земли. С собранья в Совете поселка домой он темно возвращался, насмешливый говор услышал у изб: «Без толку ты пялишься, девка: Илья-то навряд ли мужик»... «Танька, ну што ты— вот он идет». Голос Илье показался довольно известным, эдак щипнул. Шагнул он к девчатам. Одна завизжала со смехом и сгинула в нахохлившийся двор. Другую достигнул Хребтов—не успела.

«Анисье Потаповне — наше!» — «Здраствуй, Илья! Чо тебе? Нету отца-то: в волость угнал». — «Знаю. Не в этом загвоздка... Оня, пойдешь за меня?» — «Ну, пропусти-ка». — «Онюшка, вправду. Пойдешь или нет?» — Оня тогда отвернулась и — в полушалок: «Рази я знаю... если изаболе — тятю спроси». — «Да я ведь не тятю, не дядю Потапа—с тобой хочу жить». Обнял и шечет: «По сердцу мне тихость твоя».—«Чо ты кобенишься, Онька?» —вдруг из калитки подкравшись, пугнула обоих Татьяна. А утром была у Потапа Илюшкина мать и сватала девку Анисью. На Красной свадьбу играть... На Красной пошла шумота из губернского, а после—от белых в тайгу довелось. И Онькина мать отказалась: какая радость за беглого девке итти?.. Так и тянулось»...

Тискал Илья уже накатывавшие мысли.

...«Вот оно—все мясоедов ждали, а тут и самих съели. Съели мою Оньку. Тиф забрался—мать скосил. Отца не стало»...

Мимо Онииного дома— мухрышистый, седой дом.

«Сиротой осталась Онька. Надруганной. Да и за что-ж я ее ночью-то еще обидел? Ведь неповинна-же!..»

Повернул и бросился к Потаповой избе.

Оня сидела на лавке над отцом. Обмытый, убранный, грузно-широкий и длинный-длинный лежал Потап на столе и ноги маленько всгиб—на приставленной столешнице [1]. Плакала, всхлипывала, зарывшись к отцовым сведенным рукам—к трупу. Так, не раздетая в чем была—исходила слезами, а Татьяна осунувшаяся, но крепкая, хлопотала по избе:

— Плачь, Онюшка, плачь!

— Тятинька... да на кого ты меня спокинул... Ох, лучше бы мне, бесталанной... Куды я теперь да ишо с Егорушкой-то, тятинька...

Когда Илья распахнул дверь и увидал ее, такую—как иву сломанную, затрепыхалось у него сердце, расширилось и болью разрешилось:

— Онюшка, голубушка моя!.. Прости ты меня... Бедная моя, цыпушка...

— Илюша-а! источно вскинулась Оня от трупа. Слабая, колотилась на груди Хребтова: — Иилюушенькаа...

[1] Столешница—ровная, широкая доска для стряпни.

А он гладил ее по волосам, по спине, жал крепко и растопиться хотел:

— Онюшка... ударил я тебя почесь... простисся...

А Татьяна с сердцем хлестнула:

— За чо? Стервятники... Нас, коли так, с собой берите.

И пошла по воду, ведрами грохоча...

Феклиных ребят поселковые поделили. А к вечеру бабы выскребли и вымыли полы и пятнаный кровью снег закидали: к вечеру прибрякают—подъедут новые...

ЛИХОМАНКА

(ПО ВАШЕМУ НОВЕЛЛА, ПО НАШЕМУ—РО́ССКАЗКА)

Ты деревня, ты моя деревня...

— Стрелил я это в утку — убил. Плюхнулась она в озеро, и ветром ее несет, относит. Я за ей — да вот по сех, по грудки, в воду ушел, тогда достал. А вода холоднущая! Вот — с солнозакатом с пашни приволокся к избушке—и пришла э т а. Ломат-гнет-коверькат, глаза выколупывает. А тут высыпало—до того зудит,— цапатца зачал. Ах, ты, стерва! Стонал-стонал да давай материть... Наши приехали: с кем это Иван разговаривает? А я это с ей воюю. Разное лезло в голову, бредное. Лежу ровно вот я на каменке; ноги, конешно, не ушли—свешиваютца. Проходят бабы мытца: «Экие ноги долгие. Лукерья, неси-ка топор—окоротить». Лукерья смахала за топором. А я думаю: «ну вас к лешему» — взял, да и подобрал ноги-то, скрючил. Бабы смотреть, бабы шаритца: «И где это ноги — тут вот сичас были?» Ищут, а у меня сердце заходится: «ну, как найдут»! Лежал, лежал, как сорвусь, да из бани: только — ззззз!.. Две недели меня эдак тискало — иссох весь. Чем пособитца? Жена, конешно, к бабушке Околесихе: «Бабынька, помоги-и! Госьюшка приехала»... «Нну-у? А мы ее мигом. Давай-ко, девка,

квашеных кишек - помылья. Тряпицу в ем вымочить-высушить и тем зажечь-окурить мужика. Ежли не сдохнет — обязательно выздоровет: выкурим лихоманку». Мда-а! И вот давай они меня, запалили, да давай меня кадить — прямо к носу. Оой, душа уходит! Я-а головой верчу-кручу: дым-от срамной-душной — а они все к носу да к носу. Да што жа вы эта, так вашу перетак-так-так в веру — бога? Так и закатилось сердце, обмер я... Ну, а после того очухался — бросила лихоманка, ушла: не терпит такого пропащего запаху...

Деревня. А от деревни одна дорога: колеистая, угробистая, мокрая. (Была и другая — Мишка Царев перепахал, кавыкой-травой засеял). По ней, по бокам-сторонам: колки, замотанные в паутину, болота — как варево тухлое с жирком, мочежинки, корчажинки; густобровые (в осоке, в камышах — глазища), с топ... ым, бурогорелым дном-жижой — озера-озерки; через нее вроперек—речка Чувиль, которая только веснами бывает да в ливни, а летом пересыхает. Весной (когда снега растопятся) придет — и не увидишь, мост через Чувиль смахнет и ляжет — Распутица. Чисто баба—сырая, пухлая, светлоокая, широкогрудая. Солнышко ее гладит-пьет, земля ее пьет-целует взасос. Разляжется, очи в небо упрет. Над ней облака—как думы, над ней и думы — как облака: плывут кучеряво-нежно-румяные — девичьи; от края до края одноцветно-плодовитые бабьи слезят; синие-сине-ссиза-грозово-тяжкие — мужичьи клубятся. Разляжется Распутица, рученьки забросит, —и нет тебе ни проходу,

ни проезду. Ветер, уцепившись за крайние кусты, дует-раздувает, рябит-сушит. А ей — хоть бы что: отлежит свое, тогда уйдет, тогда езда настает...

— А я тебе доскажу, сынок. Как удет она, на ее место лихоманки сядут — двенадцать дев. Первая — рвотная; вторая руки-ноги отымает — Судорога; третья память-ум затемняет; четвертая — та по костям ходит — Костоломка; пятая — пухлая: опухает все, и лицо становится, как воск; шестая — кровососная, кровью исходит, кровь в нос изводит; седьмая — Краснуха, красноту наводит, портит-пятнает тело — Рожа; восьмая — Крапивница, сыпью рассыпается, зудом ест; девятая — желтая, все желтит и нутро выжигает; десятая голос-волос отбирает, ко гробу приближает; одиннадцатая — буйная, Победительница (нет от ее спасенья!); двенадцатая — Гробокопательница, сама Марья Иродовна, царевна бесстыжая.

— А враки это все, бабушка: все как есть враки. Лихоманка — вовсе ее не видать, никто ее не видывал простым глазом. Ученые только в микроскоп смотрят — разглядывают, в такое стеклышко, которое увеличивает в тысячу раз: а под ним — червячки-загогулинки этакие копошатся. А так — нет. Конечно, особенно в мозглые вечера-утра, подымается там такое: бельма выпучивает и пузыри пузырит, будто урчит зло. Ну это просто — туман можжит, а пузырят газы от гниения трав и кореньев.

— И што ты, милай, што ты. А ты мне не сказывай, не размазывай. У Лихоманки, у той — глазища карие с рыжим блеском, а космы с проседью. Никто

не видал, а старики разъясняют: зимами она по избам, по углам лютует, а в подталь на тепло вылазит. Усядется это она там, у Чувиля на болотах; в сарафан-изумруд разрядится, шелковьем-камышем шумит-шелестит; в косы-волосы цветки вплетает — желтые, глазастые; в незабудки незабвенные убирает грудь. Взглядки ее — ножи, руки-крюки да кряжи: так всех и зацепляет-прихватывает. А голос-воп—писклявый, зудящай, тонкай, как паутина: пииииии! И треплет раз в день: либо с утра до полдня, либо с полдня на закат сонца.

И много от ее средствов, и все недействительны. А первое средство: коровий зад обмыть и теми ополосками умываться — и не раз, и не два, а месяц. А второе средство: лошадь-падину в колках надти и взять кость от задней ноги—ту, что потолще да поувесистей, — в зубы и с ней взад-пятки в поселок спятитца. Не гляди, што будут изгалятца, насмехатца, травить: «Усь, Дамка! Уссь!» А ты иди себе да иди до самого дому молча. А третье средство (мужикам помогает больше): ссец настоять — мужику испить дать. Ну токо тут исподтиху надо: а то, как сдогадается мужик,—кулаком начнет поить—захлебаешься! А четвертое средство—лихоманку топить. На то надо лошадь запречь в телегу, бочку пустую на телегу постановить, бабу за бочку посадить задом к лошади и чтобы ноги свешала. После круг церкви ровненько так объехать и с гиком-свистом на озеро. Лихоманка, конешно, тут же следом. Ан либо утопнет в озере, либо след потеряет в воде. А пятое средство на раз-

ный пол—мужикам и бабам: помылье жжоное в тряпке нюхать. Ничо, што удушает: не помрет, так здоров будет. А шестое средство—для девок и молодух: на зорьке на утренней, покуда ишо туманно-морошно, за село, за поскотину вытти, раздетца до-нага да бегать, как кабарга, по лужайке-траве кругом — отбегаться! А семое средство—самое верное...

— Ах, бабушка-старушка древня, Голендуха Тьма-Тимофевна, наговариваешь ты страсть-напевно,— скажу и я тебе россказку про деревню. А ты потом скажешь, как узелок развяжешь: которая по счету вот эта лихоманка, что треплет-колотит споздна и спозаранку.

Было еще почковато — не лиственно, а россказка моя истинна—отвались язык!

Слушай...

Ехал это из города Егор Матвеич, товарищ Кочетов, раным-рано. И вез он масло-олеонафт да керосин в бутылях в кооперацию (для освещения и для машин) — потому ехал замедленно, не спеша. Буланка идет, дремотит, и телега по сырой колее не тарарахтит, а так легонько скрипнет, стукнет, бутыль покачнется, булькнет, соломкой прошорохнет: тишше!

Егор Матвеич кисет вынимает, крученку прислюнивает, исподлобья тем временем поля оглядывает. Колки почками дымят—коричневеют вблизи, зеленят издали, палы у болотин курятся, лениво, как гусеницы, лижут-жрут бурьян-прошлогодник и окоселье, травка вылезла молодая, вымытая, резвится, на свет глазеет, и туман седой раскачивается над ней, мудрует. Хорошшо-привольно-свежо!

А по полянке носится, подснежники-цветики приминает... Что это такое бегает-мельтешит, по лужайке взад да вперед кружит? Пятки сверкают темные, хлещут по кипень-телу, а оно вздрагивает-волнуется-пенится, волосьями длинными покрывается (как озеро на ветру рябится, закрывается травой-осокой).

Кто это летает?.. Лихоманка? Как бы не так: Егор Матвеич—кандидат, чай, в коммунисты готовится — неверующий в побаски, дотошный. Что бы это?

А оно уж назад бежит, груди придерживает, что бы не болтались, и бормочет-бормочет: «Ой, отстань-отступи, отвяжись, пропади-пропадом, проклятууущая!» Солнышко выставилось, любопытствует, разлепило красный зрак....

— Грушка-а! Да ты чевой-то?

— Ойй, мамынька-а!—всплеснулось-заполоскалось это наперехват к кустам.

Кочетов наскоро лошадь притпрунил, вожжи на круп покинул да за ним в кусты: своячена, видишь, это—красноармейка Груша, свихнулась никак, как нитка с веретена...

— Грушка-а! Штой-то ты, Христос те встречу в шкуре овечьей! Рехнулась ай так?

А та присела, левой исподнюю с юбкой к стыду-грудям прижимает, а правой — вербу притягивает спину прикрыть:

— Д-уййди ты от меня, зараза! Чо шары-то выкаттил? Ай-да, удди-уходди... не срамотно ттее.— У самой зуб о зуб, как храповое колесико.

— Д-ну, накидай лопатину-то, дуреха. Спотела ведь, простынешь и...—и отвернулся.

Та сзади тропится, зубами чакает:

— Вот те черти-те принесли-и... Отбегивалась я: костоломка меня семой день трепит, дыху не дает... Ах, окаяннай,—подкинуло тебя тутотка...

(Костоломка—это твоя, Тимофевна: четвертая, значит).

Взвалил ее Егор Матвеич на телегу, тулуп с себя скинул—накрыл (а она—как мак в огороде—горит, дрожит—как свядший на ветке лист)—повез в деревню. По мягкой, по сырой дороге, мимо озерных бельм.— Ах ты, дура-дуреха, чего придумала!—тулуп ей под бока подтыкает, под ноги подвертывает, руку держит на ней, чтобы не распахивался:—Ах ты, дура-дуреха...

Гагары, припрятавшись в камышах-осоках, галдят-галдят: «Егор, а Егор! Егор, а Егор!» А харлуша-погибелка квохчет: «По-огиб, по-огиб, по-огиб!»

— Ах, ты-ы... Дура-дуреха-а...

Да. И вот скажи ты: Груша-то дня три еще провалялась (с лугов-то немного насмоку только прихватила), встала, как встрепанная, (пустая болезнь была—инфлюенция), а Егор Матвеич, товарищ Кочетов занемог с той поры, занедужил. Занедужил он не первой твоей, и не второй, и не одной из двенадцати, а совсем на-особицу. Влипло ему в сердце, как репей в гриву, то утро и Груша-красноармейка, вся—как на картинке у учителя (Пси-пси-хея—так, кажись?) Жил он на свете, прожил сорок лет—ничего такого не было, не бывало. И Матрена у него—Матрешь—

баба по всем статьям, по-хорошему вышла. Премудростей этих полюбовных, конечно, не водилось—не-ет (а что и было—как шишками да иглами западало! листвой занеслось), ну а с деловой точки зрения она ему, Матрена, за двадцать два года трех сынов принесла и дочь. Один сын против Колчака лег, другой в Риге служит, третий с отцом по хозяйству, и дочь замужем уж. Баба у него, Матрена, — спокойная, ласковая, без норову, без отказу. Так. А тут сердце у него с головой врозь пошло.

В Поссовете сидит: госбюджет, местный бюджет, списки-переписки-записки, перебор-недохват, дроболитейного завода постройка,—а у него виденье: как это Аграфена себе пятками поддавала и грудьми трясла. В молоканском товариществе дело идет о том, куда обрат [1] девать (хоть выплескивай!—надо сыроварню строить), он свое слово ладно скажет, а как галдеж пойдет,—перед ним плывет, как это себя Груша кустиком прикрывала, и как он ее домой вез. С уздой на выгон коня обратывать — непременно мимо ее избы:

— Ну, как оклемалась, Груша-а?

А та холсты расстилает белить:

— Спасибо тебе, дядя Егор. Промозгла бы, ведь, я тогда...

— А ты слухай больше разных бабушек—окочуришься: не кажный раз я около тебя случусь...

На пашню поедет мимо того места за поскотиной—вздохнет, отвернется. А если она с задельем к ним

---

[1] Обрат —молоко, обессливленное сепаратором.

придет—он будто обрадуется, а потом—рот на затвор и на двор, не то к шабрам: что себя зря растравлять. От жены по ночам ложится, сразу к стене отворачивается.

Вяжет, ведь, вот—мешает. Я говорю: закаталось, как репей в гриву — никак не выцарапаешь. Тьфу, ты—лихоманка! Впору—хоть самому отбегиваться...

Ломает его, гнет-коверкает, и начал он Аграфену к любви склонять. Так это раз зашел, она в сенцах мыла. Пыхтит, пол скоблит-оттирает, тряпку отжимает. Постоял-постоял — ничего путного на ум нейдет.

— Груша, а Груша... скажу я тебе чего-то...

— Чо ты мне скажешь, Егор Матвеич?—бросила тряпку, юбку ототкнула.—Айда, проходи в избу.

— Да нет... Груша-а... Слы-ышь: сушишь ты, потрошишь мое сердце, как головня пшеницу—ей-бо. Пыль одна мутная—нет мыслей... Хошь-што-хошь—жить без тебя не могу: работа на ум нейдет... Слы-ышь, Грушша-а...

Стоит молодуха, слушает: вот те на! Руку его, конечно, откинула, которой он под груди норовил ее взять.

— Да што ж ты это, Егор Матвеич. Окстись. Мотря-то ведь мне сестра. Д-ыть ты зятем мне-ка. Д-ыть я мужняя... д-ыть Степан-от меня... Д-вишь ты чего... Да ну-у тебя...

— Да ты меня не отпихивай: от тебя это лихоманка-то в меня вселилась, трепи—и никаких, трясет на-особицу...

Кое-как спровадила Аграфена зятя: так—на «ни тпру, ни ну». Мужик-то, Егор Матвеич,—хороший—обиходчивый: что мужика обижать из-за пустяков. И с Мотрей-то как? И Степан вернется—бока намнет, дыхалки отшибет.

А Егор Матвеич не так, так этак заходит-забрасывает, прижимает-ловит: взяло его—и шабаш!

Что тут делать?

И сдалась будто Аграфена на его приговоры:

— Ну ладно, слышь, Егор,—грех на тебе. Приходи седня вечером на гумно: знаешь, по колачевской дороге...

Отлегло малость у Егора Матвеича, и в этот день он работал исправно, везде с главного козыря ходил. А Груша все это так повернула: тайком повидала Матрену, тайно поведала ей про затеи ее Егорушки. Засвиристело у Матрены: «Ах ты, блудня, распронаязви твою печенку-селезенку! Ах ты, камунист яловый! Так мы ж тебя подсекем-подъедем».

Взяла Матрена всю одежду у Аграфены и платок ее, в сумерки шмыгнула к гумнам. Не через час—через минуту подходит Егор Матвеич, товарищ Кочетов,—а женщина (закутанная, да и смеркалось—кто как не Аграфена) шепчет: «Не шуми... тише». Он это к ней с обнимкой, а она—с уздой: «Ты денег мне дай. Ты чо думаешь?»

Резануло это слово Егора Матвеича: «Ах ты, стерва! Чего ж ты (думает) ворошилась,—сколь времен я из-за тебя потерял».

— А сколько тебе?—вслух это.

— Да рубля три дай.

Еще больше того сощемило Кочетова, и охотка вполовину пропала—любовь. Вынимает рубль:

— Нету с собой-то. Два завтра отдам. Обязательно.

И до того это у него сердце сердится, что и невдомек: ведь со своей это он женой секрет разводит, с законной Мотрей со своей. Ну, после того, берет уж он ее жестко, по-свойски (шлюшку продажную!),—и—как бы это сказать—поразгулялись немного и отправились домой, у ворот встретились:

— Ты где была?

— Д-молоко в завод сдавала. А ты?

— Бумаги кой-какие просматривал в Совете.

Насчет гумна никто никому ни слова, ни гу-гу. Егора забота ест: где к завтрому два рубля откопать, и на Грушу он распаляется: «Ах, шкуреха! А то и воды не замутит... Откудова бы мне эти два раздобыть? Ах, подлая душа». Перед женой (двадцать два года она в него, как в землю, веровала) совестится-винится в мыслях и в первый раз после долгого, со вздохом ложась, лаской ее по спине продернул:

— Матренушка, не тесно ль тебе?

— Ничо, — похохатывает про себя Матрена, видит, как его корежит: «Эшь ты, кавалер с изъянцем!»

Утром Матрена сковородником орудует, блины печет и масло на них сверх границ льет. А Егора борона боронит-разборанивает: «Ыть ты, язви тебя! Три рубля—за каку рожу?.. А-ах, лихоманка!» (Лихоманки, что его целый месяц ломала,—в помине нет:

один поскребок на нутре). А Матрена, как из жолоба, масло льет да льет. Зло взяло мужа, хозяйственное:

— Ты што ж это? Ай одурела—над маслом-то издеваесься? Разе оно у тебя рекой течет?

А Матрена, жарко-румяна, к печи повернулась, усмешку туда на сковороднике сунула:

— А тебя чо кусает? Мое дело. Я вчера вечером рупь получила да два долгу седни получу.—Блины-то—сыщщщ!—а она туда-сюда наматывает.

Егору Матвеичу в голову, как молния в темя, ударило, осветило: «Кой леший! Неужель это вчера баба моя была?!» Голову повесил—обман перед ним, что степь с кургана. Подумал-помолчал, бороду подергал, в затылок слазил...

— Разве это ты вечор на гумне была?

— На каком гумне? Нет, не я.

— А как знаешь?

— Ничо я не знаю. Но токо я теперь мечтаю—нечего нам с тобой масла жалеть. Посчитай-ка: скоко масла на три рубли? Пять с половиной фунтов. А я их могу кажный день прирабатывать. Купайся, значит, мужик в масле!

Егор мигает, глазами хлопает: Егору и крыть нечем. И весело-то ему, перво-на-перво, что деньги со своего дома тут же, никуда не девались: и стыдно-то ему, совестно Матрены-жены до красных глаз. Крякнул он, встал, облапил жену за плечи, повернул:

— Матрешь-Матрешь... до того ты у меня хорошо умна—цены тебе нет. В жись ни на кого не променяю!

А та, как изба уютная-широкая-натопленная,— глянула (все к печке да к печке—сама пламя), ласково толкнула:

Ладно уж... лешай... Ешь блины-те...

Грушу потом увидал Егор Матвеич, уздой погрозил:

— Я те, гальян окаянная!..—и сам засмеялся.

Так вот: какая это, Тимофевна, лихоманка? От тех, других, фельдшера вылечивают—хиной, уколами, прочим там... А от этой—Матренино, по-твоему счету, седьмое средство.

— Тебе бы все смешки да хаханьки. А я—вот как на духу,—семое—это молитва.

— Ходил это святой Пимон по земле. И попадают ему на встречу двенадцать дев—двенадцать королев, двенадцать дочерей Иродиады: за грехи матери (за Ивана-Предтечу) принимают страды. Косматые они, волосатые, бескресые, беспоясые, безрубашные... Спрашивает их Пимон святой:—Куда вы, двенадцать дев?— «А мы в мир идем: мир морить, тело знобить, силу вытягать, алую кровь выпивать, тело земле предавать». Вот рассердился-распалился Пимон святой. Стояли тут в поле чистые три вербы душистые—все в цвету. Подошел к ним Пимон святой, зачал вицы липовые рвать-щипать да двенадцать дев хлестом-хлестать. Завыли те, повалились, Пимону святому взмолились: «Пимон святой, не хлещи нас, нам твои хлески не в вынос. Мы без вины виноваты за свою кровопивицу-матерь, нам за нее страдать—людей пытать.

А кто будет эту молитву знать,—мы к тому в дом не зайдем; три раза аминь-аминь-аминь,—в дом не зайдем; трижды аминь-аминь-аминь,—в дом не зайдем».

— А скажи-ка ты мне, бабушка древня, объясни, Тимофевна: как же вот ты, ведь, знала—а лихоманка тебя трепом-трепала. А тут как-то встретил я тебя у угла,—помнишь, ты от фельдшера шла...

ЧЕЛОВЕК С БИНОКЛЕМ

РАССКАЗ

Глава первая

О том, как бредут соловые деньки и течет пустопорожнее времячко.

Изо дня в день в караулке тихо и дремотно.

Дремлют четыре топчана у стен гуськом и три винтовки, в пирамиду установившись и как на часах буйную голову в плечи засунув. В помещении замусленная скука на всем: на дверной скобе, вцепившейся в дерево (гусеница вот — ползла-ползла черная и застыла), на стертом, когда-то крашенном казенной охрой полу, по-солдатски вышабренном; и даже на широкой теплой—как милая сватья с засаленным передником — печи (в утробе ее всегда либо чайник, либо картошка в золе, — а она стоит и будто вытирает об этот передник руки). И казарменные окна поблескивают на все тускло и равнодушно, и муха, ожившая от тепла печки, медленно летая, разматывает клубок ленивой скуки.

И оттого, что в караулке тихо и дремотно, как в раю после обеда,—вся охрана в лежачем положении. Куликов—со смены—спит на животе до того сладко, что слюну выпустил. Бугай затиснутую в зубы кру-

ченку тянет; бумага верезжит, а он норовит поймать хоть какую-нибудь отчетливую мысль. Но мысли бегут мимо, плывут однообразной в окно вагона Сибирской степью: так вот крутясь в табачном дыму— в потолок, в потолок. Старший, Василий Пестерев (топчан его у стола с уложенной в порядок, как на лотке, литературой) головой к окну, ногами в дверь — насыщается «Борьбой классов». Нога-на-ногу—носком покачивает, книжку держит в левой руке, а правой завертывает клок волос на лбу в колечко. Клок этот, устало повинуясь, суется за пальцами, но чуть отпускают жестокие насильники,—упрямо и злобно расползается по волоску во-свояси.

Бугай думает, между прочим, и о деревне. В четырнадцатом году пурга войны рванула его оттуда, а буря Революции таскала его по полям России, как волчий хвост. Воевал и завоевывал дочиста все: и города, и землю, и бедняцкое право, и было такое даже, что и родную деревню отбирал у наемников иностранных бар—колчаковских войск. Совсем поэтому от деревни отбился Бугай, стал спецом штыкового дела и вот дудит теперь на охране железнодорожной водокачки (проопащей!). А поглядеть из сверстников, кто в живых остался,—женатики уж все и у земли—крепко. Емелька Варлаков—на что—и тот остепенился; такой стал бородатый, серьезный, а в последнюю побывку Бугая так его важевато подрубил: «На охране? Лежишь, стало быть,—то-то гладок»... А чего гладок,— пощупает себя Бугай. — Одни мослы и те обглоданы.

Бугай докуривает до ожога губ и придавляет огонь в борт топчана и, будто поймав как муху одну мыслишку, давит и бросает. Но когда выскажет и услышит, сам удивится—не та!

— Ат, язви ее: эдак шутя-шутя тысячу лет проживешь, ровно вошь в цыхаузе,—и спыкнет в выбитый зуб.

Старший дернет себя за клок и не пошевелясь точает строго.

— Опять на пол плюешь, Бугай. Сколько раз говорить? Ничего сознанья нет.

— Да я не на пол, а в бумажку, Вася.

— Не на пол, не на пол,—передразнивает старший. — Лежишь — воздух портишь. Взял бы книжку, почитал.

— Ну их в болото. Они мне в полку еще, книжки-то, лен переели: слова, знаешь, какие-то жухлые. Военком пристает, бывало: «Что ты это, товарищ Бугай, ни одной книжки не прочтешь? Такой, говорит, данный, можно сказать, текущий момент, а ты вот как оглобля в завозне упираешься».—Да что ж, говорю, товарищ Кудряшов, — зря. Я когда читаю — как есть ничего не пойму. Тут мне сейчас на ум: смотри-ка ты, кто-то надписал, а я, Бугай, читаю?! Ах, ты—курсант!.. Ну и раздумаешься...

— А по-моему, так ленив ты, Бугай, как козачий конь: вот в чем дело-то.

— Ну и ленив. Да на этой службе что мы? Солеем, дрябнем—как огурцы в кадке. А к чему?

— Как это—к чему?—вприскочку возмутился Пестерев:—На охране-то? На охране,—значит, надо. Это

тебе пустяк—водокачка. А если что, нет воды—перерыв транспорта пути.

— Да кто его перервет, — отмахивается Бугай, всегда с большой надеждой на такую возможность про себя.—Больно надо.

— А мало ли кто: злоумышленники могут быть, бандиты...

— Эй, Пестерев, они уж в двадцать первом перевелись. Бандиты—они хлебные места любят, а тут какие бандиты? Земля — солонец, родит—будто из кулака показывает. Тут все голь пролетайская, вся за Советскую власть.

— Вот ведь ты, брат, какой, право,—смущенно скажет после того Пестерев.—Караул, конечно, на всякий пожарный случай: нельзя ж без того.

— Ага,—прижимает его тогда Бугай.—Читаешь вот ты, читаешь, — а на поверку — просто неверующий. А по-моему, раз поставлен караул,—не иначе что-нибудь предполагают: наступление капитала либо что... А я, Вася, так просолел, что уж мне бы только этот бандит. Э-эх, аж в грудях засосало...

Крякнет топчаном, вздeнет на сухие ноги шептунки («Пойти, на улице посидеть, что ли?») и мыча в шафранные усы, в прокуренные—«Вставай, проклятьем заклейменный»—зашаркает вон. А Пестерев ухмыльнется.

— Чистый Бугай!—и уткнется в книжку.

На улице, из-под ног от крыльца непременно мотнется свинья грязнобокая с поросятами: — Хригу-хригу (мигом-мигом)—и те рассыпаются по двору,

стукаясь как мытые брюковки. Пес у стаек, Керзон, встретит, отбивая хвостом в землю: «Мое почтенье, товарищ Бугай».

— А-а, Керзон. Поди сюда... по-оди сюда, окаянный лорд.

Керзон, жмуря глаза, подползает в истоме и в силу устава о внутренней службе в двух шагах поворачивается на спину, и Бугай мнет его, катает-теребит, руку сует в развяленную лаской пасть.

Над водокачкой фыркает выхлоп — высоченная труба—весело, но одиноко. За двадцать сажен слышно—сопит пузатый заводчик-котел и цокая причмокивает двухцилиндровый насос «Вортингтон», воду сосет со вкусом и гонит ее на станцию в бак. В широких настежь дверях, выдыхающих на улицу тепло пара, прислонился дежурный охранник Коркин.

— Досматриваешь, Петьша?

— Похаживаем,—привычно отвечает Коркин и начинает бесцельно передвигать ноги по двору. Бугай же, исчерпав испытанную тему, лезет в карман за кисетом. Но кисет забыт под подушкой, и Бугай проглатывает жадную слюну. Хлопает снова дверь, и с крыльца сбегает с тазом с картофельной и луковой кожурой Марыська — дочь хохла-машиниста Сидоренки. Девка—трамбовка шоссейная, босая с толстенными тугими ногами девушка в семнадцать лет—могучая ива на берегу.

— Доча-доча-доча-доча! Чох-чох-чох!—голосит она свинью и выпрастывает таз в корыто.—Чох-чох-чох!.. А-а-ох!—с досадой охает она и подается вперед.

Общество, пристроившееся было у корыта—свинья, поросята, куры—шумно переполошится, но немедленно же попеняет на глупый испуг свой: «Ко-кокоо» и обратится к трапезе. Дело знакомое: это Бугай, подобравшись в шептунках, ладонью огрел Мариську. Марыська тут же одним оборотом шлепает, его гремящим тазом:—Вот тебе, чертяга!—и сокрушительным «дикоподом» устремляется в дом. Как бы не так! Дежурный Петьша успевает прицепиться, а тут и Бугай груженым вагоном, и оба парня погружают руки в упругий пух торчащих грудей, тискают удалую Марыську: и та, ведь, тузит обоих, пыхтя и прыская. Винтовка за Петьшиной спиной треплется, как в лихорадке, а Керзон, играючи хватает то того, то другого за ноги, лает звонко-радостно.

Но вот на неистовый гам сражения вылетает мать Марыськи, распушив и руки, и юбки, злющей клушкой клюет и кудахчет:

— Да що ж вы це таке чинитэ с дитем? От-то поганцы, гайдамацки злыдни. Чи малые кобылякы—маетэ дивчононьку! Да будтэ вы...—тут она поперхнется.

— Вот то-то и есть, что не малые, — почешется Бугай, обстрелянный с флангов. Петьша в то время мерно отходит (он тут не причем—он дежурный):

— Ты бы ему спасибо говорила, тетушка: этакого чорта проминает бесплатно, не то ведь—хоть наймуй.

Марыська уже в дверях заговорщицки грозит ему кулаком, а мать с новым запасом воздуха в груди строчит-строчит:

— Ах, вы... Воны еще и надсмхаюцця?! Да побачьте ж добрые люды: як вовки до ярочки. Да шоб лапуги твои отсохли, проклятый кацап... Да...

— Брось, жинцю,—спокойно доносится из водокачки голос Сидоренки.—Ну чого ты накинулась, як ястребица, не убудет таки от дочки.

— А-а... и ты... и ты из нимы, безмозглый дурень. И ты—боров—рад зъисты свое дитя... А ну-ну. А та-та... А вот напышу якусь гумагу до началства... Ага-га!—стращает она, сверкая зелеными в ярости зрачками и крутя за вязки юбку по животу. И долго еще тарахтит отступающим пулеметом, хоть и не в кого: и муж молчит, и Бугай давно уж в караулке подшивает оборванный в сапогах поднаряд, и лицо его вывяленное в позиционных ветрах светится удовольствием от встряски.

Глава вторая,

которая (лопни глазыньки!) имеет достаточно оснований, чтобы быть рассказанной и в которой поясняется, с чем едят «электрофикацию».

А вот уж неподалеку от водокачки крудит над Кипелью и над припавшими к ней ракушками-деревнями невиданная доселе голосистая стая рабочих и техников: вот уж она близ Колобродов.

— Эй, товарищ!

Оглянулся. Защурился в брови седые—в серую чащу сухостоя-боярышника.

— Дедушка, далеко ли тут до села?

— А хто его... не меряно, знашь, — (вспомнить надо давно забытое, потому что тысячи раз перехоженое-хоженое). Эдак-то рукой подать, а эдак-то ногой задеть: верстов пяток, чать напрямки...

— А ну, Москалев, — рейку!

Техник к трубе нивелира, к стеклышку принагнулся, а старик пригляделся-придвинулся, ровно обошмелый пень; сорвал березовый лист, разжевал неспешно:

— А кого это вы промеряете, робята?

— Землю, дедушка, землю, — зубоскалят городские рабочие, дальние.

— Д-я вижу, чать, што не небо. Ровно быдто я не видю, — обидчиво, уминая кадык ерепенистый, сказал дед. — К чому, мол, это? Вот вить я к чому.

— План сымаем с реки, насчет плотин.

— Пло-отин... Запруда, стало быть, — то левым, то правым глазом щелится. — Вишь ты... Д-ыть мельниц-то бытто хватает. Молоть-то ровно бы не хватат, милые, — насмехается старый.

— Для электрификации, — разъясняет, углубясь в записи, техник. — Эй, держи-и! Чего скособенился?

— Постой, закурю уж, товарищ Петров, — схватывается реечник, чиркая зажигалкой.

Отойдя в сторону, громотит дедушка ядовито:

— Эка вить... Я располагал — добро чо: передел, либо што. А тут — барски затеи: е...е... Укх, слова тожее, прости господи, — хрустит как хворост, как поземная хвоя. Но рабочим обидно: «Вот, ядри его — ба-арски затеи»... И черкнув в книжицу отсчеты, техник докидывает в догонку:

— А вот — завертит Кипель молотилки, да избы светом зальет,—узнаешь тогда—чьи затеи.

Отгребается старый рукой назад, пятится как рак под камень.

— Не видать бы, не слыхать бы... Без того жили— век прожили без эттих разных е-е-е... Очумел народ-от...

А группа сняла уже нивелир с установки—и вот уже далеко от них дедушка—старый замшелый пень: сколько, поди, за жизнь ростков от себя пустил, которых теперь «очумелыми» бранит за то, что растут.

Эх, право! И весело же перекатываться по деревням с изыскательской партией—горластой, как галочье. Вешать линию, лепясь к реке: через мокрые поймы ленту тянуть; ловить через огороды и улицы нарядную рейку в нивелир. Кромсая поперешные кудлатые кусты; ухая-путаясь—промокая в прогнивших болотинах и янтарных курьях [1], ненароком хропая дряхлые прясла и заедая работу морковью и брюквой в огородах. За разваленные прясла обегая волооких хозяев с отборной руганью. За пазуху, между делом, разлаписто-липких подсолнечника три запрятав,— наткнуться в крапивах на грозную, как старая рукавица, бабку — слукавить:—Бабушка, хоть бы огурчиков подсудобила гостям.

— Я те вот подсудоблю цапкой по роже-то, грабитель-щик.

---

[1] Курья — вода, оставшаяся в лугах приречных от разлива.

Или, — пробив поперечник от реки до пашни и приластясь на миг к златокоричневым на поле жницам,—от увесистой ласки их разогретых рук в твою распаренную работой спину — отскакивать шариком от шаровки. А потом слушать вослед белозубое над серпами и лобогрейками:

> На горе, на косогоре
> Чья-то рожь поспела жать.
> Слава богу, научилсаь
> Я духаньку уважать...

Но вечером, когда воздух—как молоко коровье парное,—что-то такое съевши и выпивши полведра квасу с чаем, на улку вытти и помириться со всеми: простить бабам копейку сдачи за кринку молока, повздыхать со старухами о царе-батюшке и о срамном большевицком преображении святых мощей и радостно и долго толковать мужикам об электрификации. А потом, когда они скажут: «Мда-а! Вот она какая, вот ее с чем едят», рассыпаться сребреголосой гармонью и выкликнуть молодняк вплоть до мудрого комсомола с заседания: городской кадрилью похвастать и чечотку подковками выстукать за крепкую Советскую власть:

> Эй, лорды,—не лай,
> Буржуазы,—не замай!..

А там, не подумав о резервах клопов в деревянной кровати-станке и блох-кавалерии на полу, на земле (подумаешь, так заедят!),—на пестряке корявом, либо в телеге, целуясь с травой-душицей, — окунуться

в густой, как пойло, сон. До утра будут громоздиться мохнатые звезды в небе и лаять ленивые псы на земле. И никто не услышит, как наряженный дозорный будет бить в колотушки и в ограды изб, уверяя, что он не спит.

По утру же,—когда трется о щеки рассвет, как набегавшийся за ночь бухарский кот сырой шерстью, мурлыча отерпшими во сне голосами и мяукая наскучавшими дверьми,—наскоро хлюпают ложки в вареве, звенькает посуда. Еще месяц вверху блестит медной бляхой на съехавшей шлее: еще люди и лошади дожевывают утреннюю дачу,—а уж по двору бегает встрепанный завхоз от кладовой к подводам, колотится побрякушкой:

— Да что же это, никак не могу топорищев напастись, что ни день—три топорища насаживай. Ох, хоть бы ты-то не надоедал, Тщедухин: на какую, на какую... Садись вон на шадринского.

— Рейку-то на ребро. На ребро кладите рейки, сломаете,—испуганной ветрянкой машется инженер около укладывающих на подводы приборы и инструменты.

— Трынь-брынь,—подплясывают стальные колья на кольце. — Тс-с... брось, шалопаи,—шипит лента, шлепаясь о расшалившуюся гурьбу кольев.

— Опять мне на этом одре,—протестует десятник Тщедухин, продевая голову в лямку с флягой и вешая еще на шею красивейший кожаный футляр с биноклем. (Последний составляет неотъемлемую принадлежность разбивающего ходовую линию и гордость Тще-

духина, поэтому он по малейшему поводу глядит в него и даже в миску со щами заглядывал бы, если бы самому смешно не казалось). После чего, нахлобучив шапку с ушами, которую начал носить с июля,— он имеет возможность с заматорелой ненавистью воззрить на лошадь и на возницу:

— Ну вас к бабушке...

— Айда, садись-садись. Лошадь чо? Лошадь добра,— уговаривает возчик и дергает вожжей вихрястого в три дуги карька: «Покажи-де мол прыть, сердяга». Но карько открывает мокрый блестящий глаз, косит красной мочкой на хозяина: «Везти, што ль? Не-ет? Ну так чего зря треплешься».

— Да что, право: в полночь с работ ворочаться. Распоряженья тоже...

— Сади-ись. Я тебя подвезу: вчерась дымок доглядел над кустами—не иначе завод самогонный,— соблазняет шадринец Тщедухина.—Гвозданешь с устатку.

— Тьфу, чтоб вам пусто было,—распаляется не так уж зло Тщедухин и, придерживая бинокль на ремешке, семипудово взбрасывается в охающую телегу.—Эгей, ребята... Особое приглашенье вам рассылать?

— А ну, трогай-трогай-трогай!

Громыхая как грохот, над вековыми недрами разбивающий комья немой земли, выезжает на семи подводах партия на весь день на работу. Семью семь— сорок девять глоток и с гаком. Вот дорогу пересекают парням с табуном коней—на водопой.

— Эк набились-то!

— Как на базар аль на отвал.

— Товарищи, — гаркает от ворот хитро-заботливо пожилой и гладкий мужик. — Поехали, а глико — ось-то в колесе! (Вот — думает — схватятся, поспрыгивают посмотреть, что это неладно в снастях: попадут деревне на зуб!).

Ан нет — учены:

— А у тебя рожа в дегтю, — отражают рабочие.

— Ах-ха-ха-ха! Го-го-го!

— Что съел, дядя Селиван?

— В городу — аховы.

И забубенный Бояркин брякнулся уж с телеги и дробит-дробит по пыльно-росной колее.

По деревне хожу,
Ровно бы по городу;
Я любому дяде злому
Выдергаю бороду.

— Ать телки, истинно — телки, — сконфуженно провожает незадачливый остряк. — Чисто бандисты...

В избах на грохот-гомон отчаянный от пылающих печей, от стукающихся лбами горшков отрываются жаркие бабы и плющат носы об оконные стекла, подбородки крутые выставляют за отворки.

— Девки, глико — солдаты буруют.

— Не солдаты это, мама, — техники, секлетарь восет вычитывал, — и на подоконник высаживается девушка, зарумяненная со сна, как шаньга в сметане: «Чего это парни бесятся?» — утренне строго окатывает взором пришлую чудь.

— Эй, ребяте,—балуется охочий Бояркин.— Смотри-ка, какая сердитая. Три года сердится, никак не разведрится. Брось, что ли дуться, Малаша, а то замуж не возьму.

Косится девица, серьезится, а потом хохочет-хохочет:

— У, черти не нашего бога...

Глава третья

О вечере обыкновенном и долгожданном утре или о том, как бывает сон в руку.

Соловые лошади осени, лениво переступая, приводом ворочают чигирь дней вокруг водокачки. Выплескивают ведра-часы в жолоба дум ее обитателей— течет времячко как вода, и мокнет как земля дума Бугая. В полуверсте чертопрудит кособокая мельничешка. От нее—от подпруды—серая с голубым Кипель-река пухнет в этом месте, как удав-змей, заглонувший козленка. Промоины, старицы, курьи — у мельницы и против водокачки: в три стороны — выгон плешью на две версты с дорогой по телефонным столбам на станцию, а с четвертой — река; за рекой вихлястые перепутанные кусты — тальник, черемуха и чуть повыше, посуше—-боярка шипучая, обидчивая. И сроду никого там не бывает, никого нет в этих кустах: одни плоскущие клещи, медлительные как бритые аббаты-попы в коричневых сутанах, да еще травяные вши кисейно-дохлые, как барышни в голодный год. Ежедневно и выгон, и кусты заречные несчетно раз об-

следуются дозорным поглядом, и так это опротивело, что с трудом представишь: ведь есть же на свете места и рядом, пожалуй, есть, где не свирепствует эта тихая засть, как газ ядовитый. В ближнем селе Колобродах дни позаняты-порасхватаны страдой: сноповозом, молотьбой, трепкой льна, и редко собирается даже сельская комячейка. Как есть—в ссылке на этой охране: день за ночью, ночь за днем, после чая густого, банного — картошка печеная, картошка вареная, картошка жареная. Бывает, правда, изредка и балаболка с мясом, когда Пестерев съездит за двадцать верст на станцию и привезет газеты. Бывает и посмеются охранники, отдохнув на Колобродском спектакле.

Сегодня Пестерев как раз привез со станции почту, а в ней — письмо Бугаю из дому. Караулка весь день звонкими и увесистыми словами звучала о кипучей жизни где-то, а мать отписывала «милому сыну» о том, что «волки страшнеюще умножились и задрали телушку-пестрянку» и что «девок тоже много и девки, как помидоры, — а кости мае старыи, за сыру-землю просюца» и заклинала-звала править-хозяйствовать. И оттого, платая цветными тряпками тлеющие штаны, перед сумерками Бугай с непривычной острой горечью думал: «В газетах одно твердят — там производительность подняли, там... А я — тут. А какая, спрашивается, у нас на водокачке производительность? Преем! За полгода — хоть бы чхнул кто!»

— Слушайте, ребята, — тряхнул он головой, натягивая штаны и доставая из печи прожареный

в саже чайник. — Загадаю я вам загадку. Было в одной деревне. Пришел туда шулды-булды, охватил стрики-брики и ушел в шурум-бурум. Ан доглядели пшонники, сели на овсянников, догнали шулду-булду и отняли стрики-брики. Что это такое?

— Вор, — быстро смекнул молодой Куликов.

— И что ты стреляешь, Куликов? Тут целая рассказка, — осердился вдруг Бугай, которого легкомысленное отношение сдернуло с минорного настроения. — И не по разуму: тебе бы про бабу-ягу слушать да с Марыськой хороводиться.

— А тебе завидно, — окрысился и Куликов.

Но Пестерев утихомирил:

— Ну... не драться, не бороться...

И Бугай презрительно махнул рукой.

Куликов любит сказки и машины и, если свободный и не спит, — трется на водокачке, помогает Сидоренке и кочегару. Коркин интересуется загадками и шашками, в которые играет даже один, а то Пестерева сманит и обставит в поддавки. Бугай этого ничего не любит, никакой выдумки, только сам про походы и сражения любит рассказывать и тут уж приврет — недорого возьмет. Когда приползут сырые сумерки, и неизвестно для чего начнут постукивать дверьми, и шаги незнакомо шаркают по коридору, Бугай голосом ровным, как капель, что-нибудь рассказывает караулке. Поэтому напившись чаю и тем залив неудачу с загадкой, он лег на топчан и завел:

— Расскажу я вам случай из своей истекшей жизни: как я однажды у смерти за пазухой был

и вызволился. Ходили мы с товарищем — в Курганское восстание это было — в разведку. Местность неизвестная, а нам позиции бандитов выведать, чем дышут. Ну и втюрились: словили нас мужики-бандиты, ведут в ихний штаб. Дело — как табак на ладони: конец нам с муками. Эть, думаю, — дай попробую. «Ох, говорю, старики, дозвольте до ветру. Животом маюсь: который день, как из гвоздя». Один, гневистый такой, сурьезный, прицыкнул: «Айда, иди-иди, не оглядывайсь. Душу твою до ветру пустить» — и прикладом подтвердил в спину. Я не отстаю. «Дозвольте, говорю, белье ведь спорчу». Знаю, какую струну в них задеть. Другой и потревожился: «Пусть его, говорит, Никифор. Медвежья хворость его прихватила. Чо лопать то здря загаживать — сгодится». Никифор на своем: «Придолбанить его — боле нет ничего». «Нельзя, штаба может чего выведает». Отвел меня Никифор-сердитый к кустам. Присел я, кожилюсь нарочно, даже глаза закатываю, — он и отвернись: «У, страмотина!» Ну, я тут, конечно, метнулся зайчиком и давай стегать... Тра-ах! Ба-ах! Держи-и! — Кланяйся нашим, увидаете своих. Так и убег. А от товарища после одни обрубки нашли.

— Вот ведь зверствовали, кулачье, — содрогнулся Куликов и, шлепая во тьме босыми ногами, зажег лампу.

— Д-даа. Это тебе, братишко, не с Марыськой тактику подводить: гражданская была, — значительно произнес Бугай. — Ходи да оглядывайсь. Это бы как мы сейчас тут прохлаждаемся, — давно бы из нас

каклеты сделали. И я тебе скажу, Пестерев, — взять нас, как курей с насеста: от кустов из-за Кипели.

— А ну тебя к чорту, Бугай, — захмурился впечатлительный Куликов. — Вечно ты к ночи зачнешь представлять: увидишь еще что во сне — спужаешься.

— А ты что соображаешь. Зря тебя здесь приспособили — картофь лопать, — довольный результатом подкрутил потуже Бугай. Но немного помолчав, махнул безнадежно. — А тоска, братцы, тоска! И что было, то прошло. Бандиты — это бы разлюбезное дело: колесом бы жизнь поехала... А то тянет нищего за кошель... Я вот — ровно надвое расколот: полено вязовое, лучинки туда-сюда хвостятся...

Но его уже никто не слушал. Куликов надел сапоги, набросил шинель и ушел будто бы на мельницу на часок, а Пестерев, спать налаживаясь, внимательно отстригивал уродливый ноготь. Испуганно затрещал телефонный звонок со станции:

— Воды!

— Сходи-ка, Бугай, к Сидоренке — воды, мол, требуют...

Заснула караулка. Одна лампешка, как старуха на молитовке, шепечет сгорающим керосином, да еще муха, которой свет и тепло не дают зазимовать, устало волочит серую нить тленья жизни.

— Бугай, а Бугай! Да ну же Бугай, вставай на смену, — раскачал его за плечо Коркин.

Обулся Бугай, снарядился в под тулуп, завернул на дорожку дюймовую и, попыхивая ею, вышел

с двенадцати. Ночь темная-темная — себя потеряешь — встала осенняя, как слепота. От мельницы — текучий шум. Днем водослива не слышно — скрипит на осях сентябрьский день. Но когда вечеровая сырость заволочет кусты и водокачку, и окрестности поседит насупленный угомон и уставится в черную как чернила воду, — тогда слышно, шумит водослив, шумит и шумит, и смех приглушает и взвизг Марыськин, которая — как только Сидоренчиху свалит первый мертвецкий сон — с Куликовым милуется до полуночи. — «Не зевай, ребята», — одобрил Бугай, целомудренно обходя место свиданий — стайку. Окружив строение раз и два, он присел на берегу и задумался: «На хозяйство ворочаться — бабу заводить. Пол этот, разумеется, очень отсталый в себясознании — кутерьма. Ну, а без него не обойтися»...

Ночь потихоньку тает, и щурится звездами темное небо в Кипель. Спит и Кипель, чуть поплескивая-посапывая в изгиб, спит и водокачка по-заячьи, таращась огоньком в пустоглохлую темь. Ночью вышел Коркин в одном белье:

— А я, ведь, отгадал загадку-то, Бугай.

— А ну?

— Шулды-булды — это волк. Овцу упер стрикибрики. Верно?

— Правильно! Дошлый ты на эти штуки, Петьша.

— А пшонники — люди, овсянники — лошади, и лес — шурум-бурум. Хорошая загадка, право, — и запоеживался от холода. Но Бугаю не хочется отпускать его.

— А ведь раздуматься, Коркин, — на очень скверном месте водокачка устроена. Если с выгону на нас нападут — какая у нас позиция: в реку валиться? А от кустов — вплоть подступ, и не расчухаешь... А занятное было бы дело, прямо бы...

— Чешется, видно тебе белую гвардию[1] кормить сызнова, — протяжно позевнул Коркин, задирая голову в небо. — Э-эй, Ковшик-то уж на склоне. Часа через два вставать начнут. Ну, дюжину вам бандитов к утру, товарищ Бугай, — и ушел. А дежурный Бугай покружил опять, покружил и стал у цоколя против приемной трубы.

Немного погодя стал густо светлеть воздух и задымилась река, как упаренная лошадь. Поздний месяц рогастый, дозорный, дрогнул промерзло и, запахиваясь в долгополый тулуп, потихоньку уходит-уходит-уходит. Мутно становится вокруг водокачки и бело, как в мельничном раструсе. А вот из-за дальнего леса-забора пробирается солнце по буграм на колючее жнивье, печатает тяжелой ступней дорогу и пар раздувает над рекой. — Эха-га-га-го-го-го-хо-хо! — Заорал мокрый туман, кудлатя бороду. — Здраствуй, солнышко, ясный день бабьего лета!.. Дом просыпается... Начинают толкаться обитатели взад-вперед, и не выспавшаяся Марыська, по-детски надувая пухлые губы, с подойником подсаживается в стайке к корове: — Геть ты, цыля. Стой, глупая.—Струи молока звенят да звенят, молочные—поют да поют...

[1] Намек на вшей.

«Эка, как дремлется-то — пригрело»,—подумал Бугай. «А которое сегодня число? Которое... которое... Экх!»—Крякнул и поднялся на затекшие ноги.

Втихомолку подобравшиеся мурашки пугливо разбежались, а он подрыгивая вскинул винтовку на ремень и глаза на затрепыхавшиеся и затрещавшие на той стороне кусты: «Баран либо заблудшая корова— эть пастухи барахло!»

И вдруг (несколько ударов в сердце бьют холостую) очи его раскрылись, шире и шире, а затем округлились, заостряясь хищно, — и Бугай начал осторожно, чтобы не звякнула антабка, сымать винтовку. То, что он увидел, превосходило все его тайные вожделения: над кустами на высокой жерди дерзко и неуместно взметнулся и заполоскался бело-алый флаг, и кто-то неистово скомандовал:

— Э-ааайй!

Глава четвертая

последняя — о том, как «Судьба играет человеком» — ему на пользу или о смирении гордыни.

Накануне описанного рассвета десятник Тщедухин бросил разбивку ходовой за Колобродами верстах в двух от водокачки. А переночевавши и самым обыкновенным порядком выехавши на работу, начал ее с брошенного места. Забуткали в землю топоры, остругивая вешки, а десятник, помня инструкцию— быть поближе к реке, — ударился в цепкие кусты в разведку.

И вот—продравшись с усилиями сквозь багряно-рыжую густель и навздевав на себя в достаточном количестве и вшей и клещей,—он за сажень от воды водрузил флажок-указатель повыше и заорал рабочим:

— Проруба-ааайй! — вылез, как груздь, на берег. Первым делом его в виду водокачки, которую он еще с чистого бугра высмотрел в бинокль,—было: не обращая ни на что внимания, приложить этот самый бинокль к глазам, чтобы дать, так сказать, туземцам понятие о незнакомце, как о некотором ученом. Поводя выпуклыми стеклами с самым небрежным видом по противоположному берегу, он отметил сначала отдыхающую водокачку, а потом внезапно—руки в тулупе, перебросившие винтовку, как горячую, и уставившие смертное дуло прямо ему в переносье.

Толстая дрожь—хребтовая молния—в спину! Тщедухин выронил из рук и гордость свою и бинокль, больно дернувший его шею узеньким красивым ремешком. Эту дрожь и растерянность незнакомца в плаще и с биноклем—немедленно же подчеркнул Бугай и отбросил последние сомнения:

«Наверняка, атаман бандитский».

«Чорт его знает, может, и ходить-то тут нельзя»,—подумал Тщедухин и неловко повернулся, собираясь нырнуть в кусты.

— Стой! Куда? Стой, говорят!—закричал на весь свет Бугай.

Тщедухин обернулся как волчок и сразу замерз,—с ледяной каменки обдало.

— П-позвольте... Товарищ-товарищ!

— Руки вверх, сукин сын, буржуй! Я-ть те позволю, — ощеря зубы и не мигая винтовкой, рычал Бугай. «Убивать, пожалуй, не стоит. Живого достать! Караул вызвать!» и, приподняв дуло, выстрелил меж воздетых рук десятника в ненавистный дразнящий флажок. Пуля мгновенно и тонко пропела над протоком и теменем Тщедухина:—Ты?!—Ахнула, рванула с места флажок. Поднебесье слепо мигнуло, а у бедного десятника пересохло во рту до боли, и нос его сизо-багровый, обличавший цветом своим и наливчатостью маленькую слабость владельца, моментально отцвел.

— Да что ж этто... Товарищ, за-за что...

— Я-ть те позволю,—нестерпимо свирепел Бугай, быстро досылая новый патрон.—Ишь, сволочь, живо и знамя свое выкинул. Завоевал!

На двор на выстрел выбежали: вооруженные Пестерев и Коркин, и вся белая Марыська, опрокинув с испугу полный подойник, и мать ее, на ходу через голову напяливающая юбку и дрожащая как студень:— Ой, боже ж мий!

— Ребята, бандиты! Товарищ старший, я их тут в напряженности сдерживать буду, а ты главные силы— через проток в обход с фланга,—предлагал свою диспозицию Бугай и восхищался бдительностью: — кабы не я,—что-нибудь да он тут сделал бы.

Забегали - заносились на берегу против Тщедухина. «Кто его разберет, с биноклем»,—на бегу подумал Пестерев, увлеченный общим движением.

— Бат давай! Бат, скорей!

— Куликов! Пашка! Дрыхнет, шпана. Тащи весла!

— Ага-га-га!

— Ой, мамо! Та що ж це? Ой, битва буде,—для девичьего прилику взвизгивала Марыська.

— Втикай, дитятко! Ховайсь в скрыню, альбо в погребыцю, — всхлипывала мать.—Ой то лайдакы! Ой да швыдче ж, швыдче, доченьку...

У десятника между тем пальцы вверху вовсе захолодали от схлынувшей крови, а ушастая шапка сползла на глаза,—вид он имел самого зверского атамана, которого когда-либо видывал свет. Он чувствовал на щеке танцующих травяных вшей и видел еще на рукаве вдумчиво ковыляющего к его шее клеща.

«Вопьется ведь обязательно вопьется», — беспомощно ужаснулся он и, не опуская рук и глаз не спуская с Бугая, завопил в отчаянии:

— Да это же безобразие, безобразие...

— Не верещи, золотопогонная твоя душа, — поводя дулом, спокойно уже и жутко сказал Бугай.

Рабочие, ждавшие Тщедухина и заинтересованные выстрелом, выглянули в это время из кустов, но, увидев происходящее, хоть и не разобрав его, дали деркача обратно.

Лодка перешмыгнула проток с двух-трех весел, и охранники, штыки наперевес, подскочили к Тщедухину. Бугай опустил затерпшие руки, и жертва его, следившая за его движением, сделала тоже самое. Однако тщетно.

— Стой, руки вверх! Кто такой? Руки вверх!— испуганно командовали в один голос охранники: «Возь-

мет да фурнет бомбу!»—Коркин обыщи. Обшарь начисто!

— Послушайте, это ни на что непохоже. Это же...—чувствуя, что скоро начнется праздник на его стороне, стал окрашиваться в свои обыкновенные цвета Тщедухин.

— Молчать!

— Да что молчать. Молчи, пожалуй... Я рабочий. Десятник партии. Молчать-молчать,—закипел он.

Коркин тем временем со всем усердием произвел обыск: разорвал карман, вытащил все книжки и бумажки и даже нашел пуговицу от штанов, которую Тщедухин считал утерянной безвозвратно.

— Оружия нету?

— Нету, товарищ старший.

— Можешь опустить руки. Какой партии? Что за партия?

«Такие все подозрительные слова».

Еле сдвинул окостенелые оконечности несчастный незнакомец.

— Да изыскательской: Кипель обследуем. Я жаловаться буду. Вон тот дьявол прямо в меня стрелял, ладно что промазал.

— Промазал?!—обиделся через проток Бугай, оскорбленный в своих лучших намерениях. — А хошь, я тебе сейчас ухо просверлю?

Но Тщедухин не имел ни малейшего желания даже отвечать на это заманчивое предложение, а Пестерев нашел среди бумаг удостоверение от Окружного Исполкома—...«в том, что»... и т. д. за печатями и подпи-

сями и припомнил еще читанное в газете сообщение о технических работах по Кипели.

— Это что—для электрификации, что ли?—непринужденно, тоном хорошего знакомого, спросил он.

— Ну да,—надуто бурчал Тщедухин, стараясь размять меж пальцев клеща. — У, проклятый,—с наслаждением добавил он.—Клеща это я.

— А те—рабочие ваши? И зачем побежали — вот дурни!—искренно удивился Пестерев.

— А кому охота так, как вот я попал.

— Ну, товарищ, извините. Мы на охране водокачки, и вид-то у вас подгулял... Сами знаете—инструкция. Читали, конечно, о вас в газетах,—с оттенком гордости и с желанием польстить измученному Тщедухину говорил Пестерев и примиренно протянул руку. А Коркин помогал десятнику заправлять вывороченные карманы и раскладывать обратно отобранное и наливался кровью от сдерживаемого смеха.

Тщедухин (что поделаешь?) тоже ухмылялся, как потрепанный петух,—но возвратясь к рабочим, поджидавшим его в безопасности сажен за двести от вероломных кустов, долго сердито и не к месту ругался.

— Да что это вышло там, товарищ десятник? Чего такое?

— Да так себе. Разговор, — раздумывал, сказать или нет, стихающий Тщедухин.—За бандита меня приняли.

Рабочие повалились и, катаясь по земле, ржали бесконечно и откровенно-весело, и после еще ни топоры, ни вешки никак не держались в руках.

— Ну, ничего-ничего. Будет дурака валять,—рассмеялся, наконец, искренно и сам потерпевший .—Ай да, живей, живей: пикетаж уж вон по пяткам бьет.—И загнув перед кустами резкий угол-поворот, повел линию в обход счастливого места. «Еще раздумаются да заберут на высидку до выяснения. Натосковались черти по бандитам».

Бугай же,—который слышал все, так как проток был только десять сажен, а люди в порыве глубоких чувств по сырому воздуху горланили как индюки,—увидав, что старший виновато жмет руки «бандиту», забросил винтовку за плечо и крикнул с досадой:

— Ну, Коркин! Нечего канителиться—сменяй-давай,—и зашагал, как ни в чем не бывало от водокачки. А дойдя до дома, позвал в двери Марыську:

— Вылазьте. Ошибка вышла...

С той поры, лежа на верном топчане и с горечью обсуждая этот свой промах, который стал предметом ежедневных язвительных насмешек молодого Куликова,—Бугай твердо решал:

«Дотяну до Нового году—карбованцев подкоплю,—а там чхать я хотел на этакую службу: уйду в деревню. Там-то уж подыму производство».

В ЖУХЛЫЕ ДНИ

РАССКАЗ

I

Раней утра он всполохнется, крякнет, отфыркнется. Вытянется вверх от черной трубы, будто на одной ноге, закрутит нежно-белой головой-бородой во все стороны и заорет:

— Ээээээээээ...—густо-басовито-долго-деловито.

Стоит он широко, семиверстный, сразу во все окна заглядывает и двери распахивает. Дружески потреплет бороду рабочего на крыльце; раздует свежестью волосы и расплещет юбки и воду в ведрах у баб. Даст ласковую затрещину заспавшемуся парнишке-ученику, а потом обоими пятернями прочешет ему темя.

— Ээээуууооoааааэээ...

Хватает за шиворот вчерашнего полуночника-гуляку: трясет-трясет, покуда не вылетит похмелье, и ставит на работу. Собирает эти — от города по степи — капли (мужчин, женщин, юнцов, с красными узелками и без них) в ручьи людей и сливает их в бурный водоем труда — в завод. Он зовет их, — у которых дюжие фигуры, темные лица, хлесткие голоса, а на

блузах, рубахах, штанах, юбках, фартуках больше масла и сала, чем попадает в рот за месяц:

— Эээээээээйййй!

И он примолк.

Он примолк потому, что не стало пару. А пару не стало оттого, что остудили котлы: раз нет скота, нет убоя, нет мяса—не к чему жечь уголь, трепать машины, делать холод (так сказала Москва).

— И куда это скот девался?

— Скот в рост пущен, а Киркрай для себя на своих бойнях решил забивать.

— А почему...

— Почему-почему... Что вы душу рвете, черти полосатые. Не будет массового забоя—и вся тут. Денег нет. Сказано: свернуться...

— А-а-а мы?!

Так было на заседании РКК, Фабзавкома и администрации. Словом,—в июле Холодильнику довелось остудить котлы, раскрыть двери холодильных камер, а остатки мяса в полторы тысячи пудов засолить и заложить в чаны. Самому—в ремонт. Как же? Жаркие были дела, покуда рычали фронты, и трудовые армии душили разруху. Расхлябались аммиачные компрессора, разболтались локомобили, прогорели трубы в котлах...

К этому событию фабзавком Кремнев сначала отнесся: «Ну свернуться—так свернуться. Выше пупа не прыгнешь, а нашим легче: теперь куда свободнее будет,—работы меньше, списки короче... А на сердце почему свербит? Да, ребятам, которым тяжеленько

придется... Вот-посвербит-посвербит да еще затомит. Тьфу!»

С тех пор, как остыли котлы, и гудок перестал кричать по утрам — стало тихо. На больного отца стал смахивать завод, а измятая плошка степи вокруг, с отступающими стенами горизонта — на комнатушку. Без перспектив. В комнате больного не ходят, а шаркают и говорят реже и тише. Под столом шумотят-шушукают ребятишки, играют и суют втихомолку друг другу «тютьку», «блямбу» и прочие аппетитные вещи, серьезно и густо замешанные. А мать бегает за пособием, за работой и за едой. Возвратившись, она дает детям мизерных чебачишек, чтобы ели, и крупных «лещей», чтоб не шумели (а которому и «киселя» под — ну да ясно подо что). Шипит, хрипит, дребезжит и сердится как чайник на огне.

II

Общежитие — огромное, кирпичное, двухэтажное, на 24 квартиры. Тополя, душисто-рыжеющие от степной жары, шевелятся - отмахиваются: трпть-трпть-трпть, а на длинной по зданию лавочке сидят Несусветиха с Пустобаихой (одна широкозадая, широкоустная, как водонапорный бак—в соку еще чортова баба, другая — низенькая, худая, задранная кошка, старая). Целый день семечки лущат, от коров до коров и после. Затечет нога, забегают мурашки—передвинутся или как—и знай свое: ш-ш, с-с...

Кремнев мимо них тенью норовит, но слышит:

— Наша-то за Гаврилой шьет.

(Наша—это инженерша).

— Да што ты, девка! А я подмечала, он на Шурку шаропучит...

Вот радио-ведьмы! Неужели и Шурка такая будет? Не может быть!

Дом битком набит жильцами-служащими, но ключ в квартиру Кремнева щелкает и шумит, будто в пустую бочку: да-ым, да-ым, ррт (думать, дескать, мешаешь, чорт). Думай не думай, а табак отдай. Так-то, друг. На полу окурки, два угрюмых стула посреди под ногами и кровать, плоская, морщинистая, неприбранная. Булькает в раковину полную воды: наверно, арбузная корка засела в спускной трубке. Самовар ставить неохота: просто противно даже ставить самовар. Арбуза поел и молоком запил вместе с любопытными мурашами (желтенькие такие, микроскопические мураши). И как это желудок терпит, человек давно бы забастовку сделал. Впрочем, на фронтах луженый. А позади все кто-то шаркает и скрипит: да скоро ли ты выберешься?!

Эх, язви ее, житие!
Задавило сердечко мое,
Задавило - призакаменело...

Лег Кремнев на кровать, руки за голову, ноги на спинку, прутья железные в бока: «А тут еще эта, шкура, вяжется, мужняя. Как бы это подработнуть да...»

В дверь забуткали.

— Мо-ожно,—отворотился совсем к стене Кремнев.

— Отец тебе сапоги прислал, Ганя. Ах, лодырь— лежит уж!

Голос молодой, тонкий, кованый, в воздух стоячий ударил, и рассыпался искрами смех от зубов,—сразу окно с севера на юг повернуло. Кремнев—да что там Кремнев: тот, что брюзжал все время и шваркал носом,—живенько пятнышком юркнул за окно, не терпит живого духа,—а Кремнев—тысяча двести оборотов в минуту.

— Ага! Сапоги. Здраствуй, Александра да еще и Петровна. Лодырь? Только что с заседанья. Горько что-то... Славно подбил, и товар хороший... Арбуза хочешь?

Из-за кофты тепло идет на него, и веселый блеск глаз огнем занозит кремневскую кровь.

— Аэх, ты, Шурупчик...

— А ты не трогай-не хватай. Я за делом пришла, воли то не давай рукам.

— Так отрезать арбуза, Шура?—грудь так и разгребает ему веселье—веселый петушок.—Сла-адкий, как твои губы...

— Ты моих губ не пробовал: они горько-солены. Да ну, отрежь—очень хвалишься, будто со своих бахчей,—и засмеялась.

— У меня, брат, бахчи—вот они,—ладони свои широченные подносит.

Большой пласт отмахнул, а ножище острый-острый (чего другого, а ножи у нас завсегда острые!)— проскочил через хрустящую корку и полоснул по ладони. Брызнула кровь, и руку как от горячего отдернул Кремнев, замахал в воздухе.

— Ах ты, хозяин-барахло, — раскатилась Шурка. Когда Шурка улыбнется — чудится, зайчики забегают, а засмеется — будто подталые льдинки с крыши осыпаются, только еще дольше и звончей. Хорошо! — Давай перевяжу, давай тряпочку.

Кремнев платок из сундука выхватил.

— Рви, пожалуста, а то я искровяню.

Перевязывает Шурка, боком к Кремневу прислонясь и голову немного на бок, старается, губы оттопырила. Руки свои она душит полынью, так это мимоходом — хвать-хвать за початки и натрет-натрет. И этот запах с запахом ее вздоха нежит и желанит Кремнева, долит его к ее уху.

— Шура!

Отодвинулась и нитка сорвалась. Но Кремнев захватил Шурку правшой (левую на весу держит), жмет, притягивает, щекочущие пряди у виска целует, ищет свежих губ.

— Шу-ура-а...

Еле вырвалась Шурка, платье оправляет и от дверей глазами грозит.

— Вот ты какой, товарищ Кремнев. Я думала, ты порядочный, а ты — вон какой. Бесстыдник...

— Да погоди...

— Нечего годить. Ишь подстилку подыскал. Я еще в ячейку скажу. А еще фабзавком... Ы-ых! — хлопнула дверь.

Кремнев зажал голову в локти, уткнулся в серую просаленную подушку — пропасть бы. Пришел механик — тронул:

— Огниво, табаку я сегодня у немцев приобрел. Листового. Сигары из него — прямо гаванна.

— Ну тебя к монаху: не умею я вертеть сигары.

— Ты что-то киснешь, фабзавком. Пойдем в кош— кумыс пить...

Под утро вернулся Кремнев. В голове, как на клею все, а на языке: «Собственно, Шурка — плевать на Шурку... Оч-чень нужно»... И заснул, как убитый.

III

Когда Шурка засмеется, право же цветы расцветают. Шурка Плахина. Некогда только ей смеяться, понимаешь. Солнце еще из-под ладони брови вверх к небу подымает: дескать, время ли? — а она, отца морковным чаем напоивши, тропкой от Форштата через степь — на бойню. Солнце из-за бугра тихохонько осмотрится и разноцветно забусит по росной траве босиком вслед за Шуркой. И она босиком.

У бойни уж тяжело вздыхают коровы и волы, и бараны, связанные на телеге, тупо закатывают глаза, и пестрая сорока непременно тут же на заборе помахивает хвостом, стрекочет: — Крэк, крэк. — Завбойней ключом скрежещет в скважине, а собаки — нивесть откуда, чьи — внюхивают сладко-навозный воздух и распяливают пасти: — Мя-а-асца! Меж ними и желтая сука Сарвай, и строгий пес Мальчик, которому при Колчаке казак шашкой ноздрю срубил.

Шурка запыхается малость: «Фу, чуть не опоздала»—и назад оглянется. «Сколько отмахала!» Татарыбойцы со скорбной миной:

— Аяй, путметкам рваишь — мнуга шагаишь.

— Гху! — тряхнет лихо Шурка. — Картнын джурак джилькяндя, джигит исякбя тушняк, джиткян-кыз кӳлюмсиляб куз-кыса, — и пойдет в бойню. На татарском она — как на своем.

У старика захватило сердце, парень призадумался, а девица улыбаясь мигает.

— Ай, джиткян-кыз — джигит, — мотнут татары.

Но в бойне, где светло и воздух вечно густовлажен, тотчас завертится колесо работы. И Шурка, как воткнет ноги в казенные ичиги, фартук брезентовый наденет — больше ни слова.

Вталкивают скотину, которая боязливо втягивает запах крови и дрожит мелкой дрожью.

Бьют татарским способом: двое вяжут и валятрвут на пол, а третий—мусатом чирк-чирк, отогнет голову за рога — чи-ик! и отходит. Кровища ключем алая-нежная. Тут уж Шурка: плещет ведром воды, споласкивает липкую кровь в сточный колодец, в канализацию: убирает каныгу, навоз, грязь. Только в обед подумает: «Ишь чего захотел. Нет, Гаврюша,— не не ту наехал, откатишься». Остатнее время без дум, как и татары-бойцы, у которых одно: аяй, эей! Руки, веревки, мусаты, разноги, топоры широко-губые разговаривают.

Бойня приходит и уходит на три часа раньше: выбросить мясо на базар. Потом лениво и разбросанно начинают собираться в механическую мастерскую, в машинное и компрессорное, в кишечно-колбасное.

— Э-э, завсим плохо пис гудка, наруд разбулталса, — кричит слесарь Арсланов, проходя мимо китайца Шикутина, который у нефтянки. Двигателишка как сердце: тук-тук-тук-тук-тук, а ремень в догонку настегивает сшивкой: нцно-о-шлеп, нцно-о-шлеп. Жует перебором шестерен токарный станок, резец обдирает медную втулку для холостого шкива компрессора. Гром, гам, тарарам в мастерской.

— Пылохау. Сама фабызавыкома нет пришла. Пылохау, — открывает в смугло-желтом белые полосы челюстей Шикутин.

В машинном тихо: выверяют локомобиль № 4 и сюда из аппаратной через компрессорную тянет едкий запах мочи.

— Огоньков, — кричат в компрессорное, — подохнешь ведь ты там. Наверно, вентиль у испарителя пропускает.

— Ну и пропускает. Все одно скоро спускать аммиак из системы... И где эта стерва, Кремнев, до сих пор. Бегай тут зря, — с сердцем плюет Игумнов, возвращаясь в машинное.

— Неужели еще нет? Вот фартовый—одиннадцать уж скоро, — щурят глаза на круглые часы рабочие.— А тебе зачем?

— Да зачем-зачем! Сам он на сегодня меня вызывал. И билет банный получить.

— А он не с бабой твоей случаем. Что вас наши бабы свояками зовут.

Проходит инженер по работам. Щуплый, маленькими шажками, кивает, морщась, головой. Бросает

два-три слова и — дальше. В огромных корпусах работы уйма, но ее не видно, не слышно, и костер труда едва тлеет в сердце, а жара из степи пробирается и разваривает мускулы. Была другая жара, когда на холодном складе хранилось мяса десятки тысяч пудов, в локомобильном густо жужжал вентилятор, а от раскаленных топок чуть что чайники не вскипали, и люди переплетались-хрипели голые, нагоняли компрессорами в холодный склад морозу до десяти и ниже градусов. За восемь часов упластывались до нельзя, но сменялись крепкие духом: дело делали. А теперь — будто вокруг да около, будто ремень на холостом: тянет, а без толку. Без перспектив!

И каждый глядит, как бы подкусить. Отсюда и в «Набате» заметка:

Фабзавком барствует.

На холодильнике фабзавком Кремнев встает по-барски. Рабочие ждут-ждут, а он является только к уходу с работы. Чем это его пораньше подымать? Скажите, тов. Редактор.

Клещ.

Вечером, когда в городе, за рекой малиновеют маковки церквей и длинные персты мечетей беспомощно цепятся в небо золотым когтем, а муэдзин на вышке базлает: Алла-алла-а-а, — стихает полуденный ветер в степи и с завода слышится: Бам-м-м, бам-м-м...

Это Кремнев, Игумном и Прокопчик из котла № 2 трубы дымогарные выбивают: сдельно сменить-развальцовать 38 труб. В три дуги согнувшись, полу-

лежа в топке, бьет Кремнев кувалдой в выколотку, испарина от духоты и нагарной пыли пятнает спецодежду. А Игумнов все командует:

— Та-ак. Еще наддай, еще наддай! Та-ак.

— Вот вода, понимаешь: корки какие — в полдюйма! — ковыряет накипь Прокопчик.

— Жесткая вода, что говорить: солей много.

— Нну — солей. Галлерею у реки надо чистить: насосы вглухую сквозь песок сосут. В четвертом цилиндре Несусветов восет целую горсть песку нагреб: вон куда попадает.

— Прокопчик, а ты куда, — когда с завода сократят?

— Ку-уда, а к бису: котлы со смолой наблюдать,— и отворачиваясь вздыхает. — Неизвестно... Што говорить...

Когда становится совсем темно и как-то пухло у завода, ребята собираются домой.

— Эй, Кремнев! Вылезай, кончать пора!

Кремнев, оглохлый, выбирается - разминается. Хмурый.

— Чего ты такой сумной? Или в коше всю кислушку вылакали, — хлопает его по плечу Прокопчик, подмигивая.

— Сволочи вы, больше ничего. Эдакую пакость в газеты пропустили. Раз в жизни ошибся человек...

— Сам виноват, не просыпай, — подтыкает Игумнов.

— Зна-аю я: ты это пропустил.

— Тебя не пропустить, тебя бить надо.

— За что это? Что я тебе соли на губу насыпал?— свирепеет Кремнев.

— Не путайся с бабами. Тоже ответственный, профтехнический...

— Эй вы, свояки-родственнички, чего оскалились?— расхолаживает Прокопчик.

— А что он товарищу свинью подкладывает?

— Да не он это. Мне сегодня Сережка хвастал: ловко, говорит, я Кремнева продернул.

— Сережка?! Комсомолец?!

— Ну, да...

— Ах, стервец! Ну, это — молодчага. — Кремнев успокаивается и светлеет.—А я полагал, ты, Васька, из-за сплетки.

— Д-я тебе так морду намою, если что. Плевать мне на газету.

— Чорт-те, бабам рта не зажмешь. Они всех тут друг ко другу прикладывают.

Фыркают-плещутся у водопровода, а потом мирно и мерно идут к общежитию.

— Ребята, неужель это завод закроют? Та-акой завод... У них башка не варит. (Это уж прямо из-под земли вырывается горьким огнем. А то молчат про это...)

Вечером, когда осядет копотью темнота, — безветренно. На лавочке, накинув мужнины кожухи и полушубки, лузгают языками бабы. В тополях за столиком, на котором мотается свечка (ах, окаянные, последние три фунта изводят)—«храпят». Это картеж— вроде стуколки. Механик крутит плешиной, кладя в кулаке карты веером вверх рубашкой: — Спасовала,—

и вращает выпуклыми глазами. Завмат Пустобаев рядом тонко, по-девичьи вздыхает: — И-их, храпнем.— Пом-можем, милейший, пом-можем, — злобствует пом-механика по прозвищу «Фельдфебель». — Ну и я, — поддерживает курчавый завпродуктовым. — А ну-ка, пару мне — дама короля просит в прикупке. — После этой процедуры, привскакивая, истово лупят жирными картами. На столике под камешками, а у кого под бумажником, а кто и сидит на них, — скомканные миллионы.

— Фельдфебель, с тебя пятьдесят уж. Плати.

— Постой, дай разжиться.

— Ай-да, плати, плати: опять на арапа метишь. Я тебе сдавать не буду...

По песчаной дорожке меж тополями инженерша шуршит шелковьем, как ушан в сумерках.

— Гаврила Петрович, можно на минутку?

Неохотно Кремневу: известно, зачем. Инженер — от живота вечно рожу кривит, а она в тридцатых веснах здоровенькая, голова в голову с Кремневым ростом: ей бы не инженершей, а у котлов стоять, уголь подбрасывать. А инженер только ворон стреляет по вечерам — две лисы у него на выкормке и копчик, няньчится с ними.

— Мое почтенье, Анна Ивановна. Что угодно?

— Что это вас нигде не видно? Я ужас как соскучилась, — а сама уже под руку берет. Голос с сипоткой, глаза, как ужи, норки ищут скользнуть в нутро.

— Некогда, знаете, нам гулять, Анна Ивановна.

— Пойдемте в городской сад: муж у меня на охоту уехал.

— Некогда, я вам говорю. До свиданья!

— Фу, грубиян!

От баб — ползучее: хи-хи-хи, и Фельдфебель успевает подкинуть:

— Огниво! Сапоги тебе не в пору, знать, пришлись, — полсапожки примеряешь? Ах-ха-ха-ха!

— А пшли они все к дьяволу, — сплевывает устало Кремнев. «Шурка ничего никому не сказала. Откуда — что? Общежитье — кость ему впоперек»...

IV

На общем собрании в пустом втором корпусе, в помещении бывшего рабочего клуба (ах, веселый был 1921-й, организующий — когда старались заглушить голодный вой ветра в голых пространствах, и 1922-й — когда веселились от полноты жатв!) — после отчетного доклада Кремнева о страхкассе вопрос о сокращении штатов черными ногтями вцепился в сердце — еле оттащили:

— Товарищи! Ведь охранную ремонтную группу оставят. Давайте по неделям: неделю ты, а неделю я. Все вполбеды. А там, смотришь, еще чего придумаем...

После того новое с мест стали кидать, острое:

— Кремнев, где газеты? Чорт-те што! Отчисляем — читать нечего.

— Газеты, товарищи? В том вы сами виноваты. Один придет — дай, другой — дай! На. А возвратить —

ищи-свищи: тот не брал, другой отдал. Клуб надо, и в особенности — сейчас. Что у нас? Сплетни да храп разводим. Непременно надо клуб.

— Клуб-клуб, а на что его содержать, отоплять, освещать?

На это управляющий слово взял:

— Начать поможем. Ни я, ни партия—не против. Свет и дрова между собой поделим. Работу бы вашу посмотреть.

Таким образом на следующий день после обеда маляр и искусник Семиткин из старых мешков декорации малевал, а к вечеру комсомольцы клуб чистили и украшали. Через неделю спектакль было решено поставить, растащенную мебель из квартир обратно в клуб водворили. До того все утонулись в эту работу по вечерам, что храп захирел, и Пустобаер с Фельдфебелем, как дромадеры по выжженной степи бродили.

— Эй, храпнем, что ли!

Зря.

На собрании Шурка на Кремнева хорошо поглядела, это он приметил. Но с собранья увильнула, как гальян. На другой день встретились на мостках через речку. Мостки узенькие — не разойтись, не задевши. Шурка подождала, и Кремнев, пока шел, покачиваясь, глаз с нее не спускал — как бы чего не проворонить из авансов.

— Здравствуй, Шура!

— Ай-да, катись-катись, — отмахнулась девушка, заскакивая на мостки. — Не лапайся! — и побежала по припадающим и подбрасывающим доскам.

— Да брось ты! Контр-революция: думай о тебе, будто без того дела нет.

Но Шурка только лукаво сверкнула из под капризных прядей: «Ладно, мол, не крути пуговку-то!»

Так до спектакля скользила под носом у Кремнева Шурка Плахина, как лодка мимо берега, и сердце перочкой ему рассверливала. Во время действия он с красным бантом сидел все-таки за Шуркиной спиной и неодолимо стягивал ее мысли к затылку в растрепанный узел. Дышал ей в шею и ничего не говорил. А Шурка была чуть подвита и в кашемировом полушалке на плечах, в длинных белых чулках и в башмаках с застежками. Красовалась — помалкивала! И пахо от нее сырым вечером и полынной степью и еще чем-то, что всего милее на свете. Чем это?— Молодостью задорной как тополек.

Когда же Кремнев, наблюдавший буфет с яблоками, конфетами и чаем, выходил за чем-нибудь, — Шура торопливо и радостно шепталась с подругой, а на них шикали и злились соседи.

Один раз Кремнев попробовал прошелковить баском:

— А ничего играют ребята. В неделю как насобачились!

Но Шурка, как зубилом отрубила, сквозь зубы:

— Ах, оставьте, — и не шевельнулась.

Что оставьте? Или играют — ни к чомеру, или— «оставьте ваши удочки?» Но Кремнев прекрасно понял что значит «оставьте», и губы сплюснул.

«Ишь фасон держит все еще. Ну и держи!»

Так как актеры начали поздно, а антракты были долгие, как хвостатые маршрутные поезда — стучали молотками, тяпали топорами, дергали всю сцену, потом еще с большой охотой водили по публике прокалывающим огненным зраком в глазок занавеса, поджидали, пока не начнут топать ногами в пол и раскачивать скамейки, — то пьесу закончили вокурат к двум часам ночи, когда должны были останавливать машину и гасить свет.

— А как же танцы?

— А я только из-за танцев и шла!

— Товарищ Кремнев, товарищ механик, Иван Петрович, — увивались вокруг механика. — Напишите Шикутину записку, хоть на час еще.

— Инженер ругаться будет.

— Да что инженер? Восет у него гости были — до пяти огонь горел.

— А и верно: ему можно, а нам нельзя. Тут коллектив одобряет, — Иван Петрович, пиши записку, — поддержал Кремнев.

— Да китаеза неграмотный.

— Валяй-валяй: ему все равно — была бы записка.

— Давайте я живо снесу, — вынырнул Сережка.

— А... ты — клещ комсомольский...

Сначала вальс, потом еще вальс, потом еще... так как пианист только и знал: ум-та-та, ум-та-та, ум-та-та. А после вальса — игры, и первая в хоровод. И вот попала в круг Шурка, павой расхаживает, смущенную нежность раздает. Вокруг же венчает ликующе-звенящее:

В хороводе были мы,
В хороводе были,
Были мы, были мы,
Были мы, были мы...

Кремнев дурачится, поет, кричит, гнет веселое кольцо. И вот уж:

Кого любишь — поцелуй,
Кого любишь — поцелуй,
Поцелуй, поцелуй,
Поцелуй, поцелуйууuй...

Протянуло и остановилось разноцветное кольцо — смеющееся, ожидающее, жадное. А у Шурки сердце вдруг растерялось. Потопталась — потопталась и пошла по кругу: кому подарить мгновенную радость, кого выбрать? Да ведь шутка же это, Шура!

Ребята смеются, тянут на себя: меня Шура! Шура меня! Один Кремнев стоит-молчит, пламя горькое ему сердце лижет и глаза калит, острые. Да ведь шутка же это, Ганька!

Тянет Шурку поцеловать его, но обида еще не потухла, и целит она на другого, рядом, на Веселкова. (Ну-ну, Веселков, поддержись, Веселков!) И когда уж нежданно для себя темнеет как сталь в воде Кремнев, — вдруг, боком и нескладно, лепит ему губы в губы Шурка.

— Здорово!

— Эй вы, губы-то пожалейте!

— Да он, окаянный, сам наткнулся, — смеется пунцовая Шурка. — А я его и не хотела.

И тащит Кремнева за руку в круг, а у него все еще переливается сладостно-жгучее внутри. Ровно бы и не в хороводе, а в степи за бугром,—такой объятный поцелуй...

V

И откуда это свалилось? Бывает же вот! И пришло это тогда, когда уже люди сокращение штатов в рыдающих грудях комкали, и завод коченеть начинал: сначала два месяца назад, голос у него пропал — гудок, а теперь и концы обмирать стали.

И ветер сердитый, осенний, рвал уже обугленные в жаре листья с тополей и трепал за бурьяно-полынные космы косноязыкую голую степь—тогда вот пришла эта бумажка из Москвы. Отношение за № и все, как следует.

> Вам предлагается срочно произвести заготовку скота в количестве 10000 голов и с 1-го Октября приступить к убою. На указанное вам переводится одновременно...

и так далее там.

— Товарищ Кремнев, Кремне-ев!—прыгнул со стула управляющий Хладобойней.

— Что-о? — крикнул обратно из комнаты рядом Кремнев.

— Кричи ура. Завод пойдет! По-онял?

— Да ну-у! — заблистал в кабинете Кремнев.

— Вот она! — помахивал отношением управляющий.

Крылатая весть, задевая каждого свежими крыльями, пролетела по конторе, а на завод ее понес Кремнев, Кремнев, Кремнев.

— Ура!

— Вре-ошь!

— Ура-а!

— Вре-ооошь!

Молодой черномазый слесарь машинного Веселков, хахаль и озорник, который под сокращенье угадывал, как услыхал, понесся диким плясом:

Ойй, девоньки, девчоночки,
Вишенные кустики,
Д-неужели, трафить вас,
Ноочевать не пустите-я-я...

А Кремнев тем временем держал курс на бойню. Шурку он нашел в прохладной темноте остывочной, одну — уборку кончала.

— Шура!

Она — руки мокрые назад, пальцы грязные врозь — глаза на него вытаращила, ноздри раздувает.

— Шурка, брось сердиться. Что-то скажу...

— Ай-да, убирайсь-убирайсь...

— Да чего ты понимаешь. Разговаривать еще с тобою, — ухватил ее вкруг талии Кремнев. Шурка перевалилась у него по руке, но он поймал-таки ускользающие губы. — Ведь любишь-любишь... кочевряжишься только...

— Д-с ума ты сошел ли-чо-ли. На работе уж лезет... Уходи, говорят.

— Да ты пойми: завод пойдет, завод. Бумага получена. Шура!

Та перестала упираться руками в его грудь.

— Врешь ты все, Ганька!

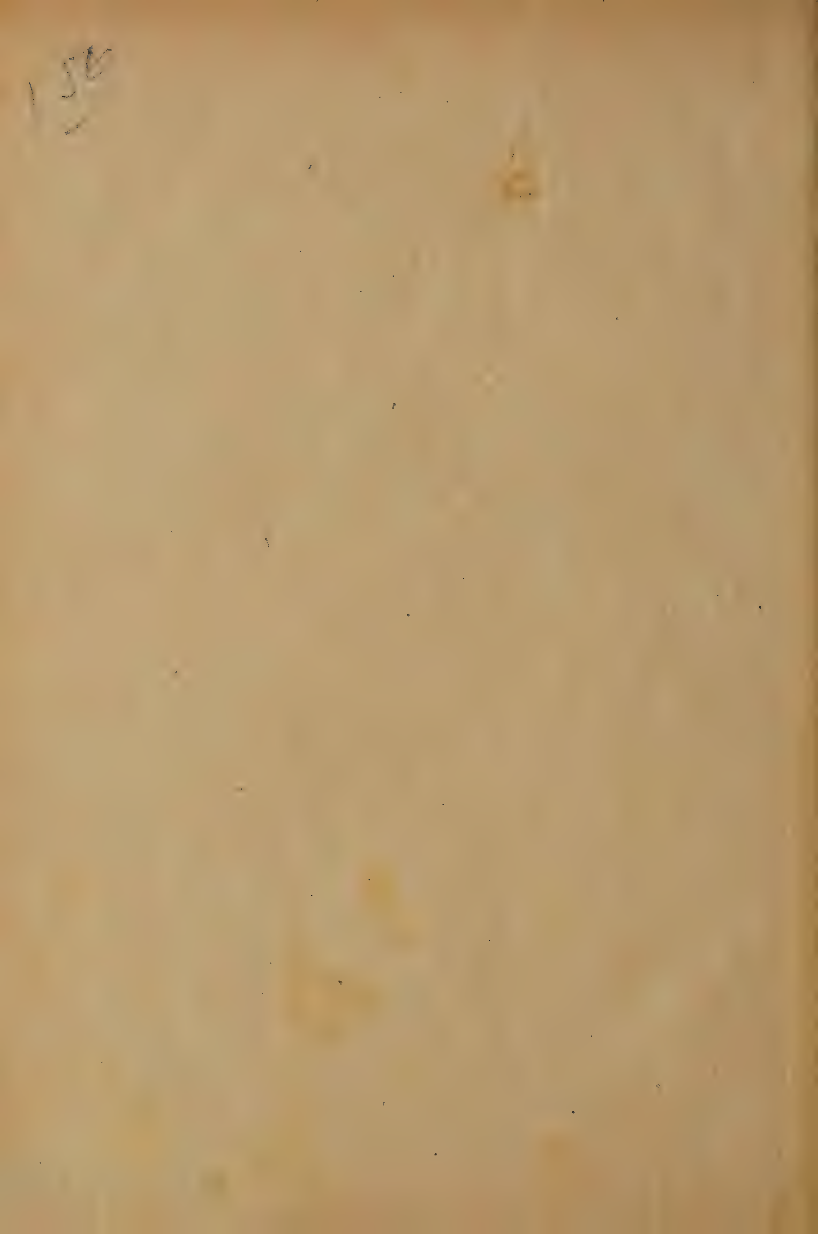
— Право же. Опять скоро этот густоголосый загудит. А мы—завтра же в Загс с визитом, регистрироваться. Нечего тут!

— Больно скорый! Пойду ли еще я за тебя, охальник, — слабо, больше для близиру, сопротивлялась Шурка.

А вечером Кремнев сидел рядом с ней у ее ворот и нежно жал ласковые руки:

— Право, жить хорошо будем!

И Шурка верила всем сердцем.



СОДЕРЖАНИЕ

